

ВИНЬЕТКИ

Давным-давно

Мама, или Как важно не читать «Что делать?»

СЕГОДНЯ МАМЕ¹ стукнуло бы 101, но она умерла ровно посередине, в 50 с половиной. Не знаю, как сложились бы наши отношения, если бы она не умерла, когда мне еще не было семнадцати. С раннего детства она держала меня очень строго; я корчился, но не восставал. Как показало дальнейшее, власть я переношу с трудом, чем во многом обязан маме — и большевикам.

В школе я учился на отлично, а дома — музыкой — занимался из рук вон плохо. Учителей меняли, но дело не подвигалось. В конце концов, после шестилетних мытарств, когда я уже разучивал сонаты Бетховена, мама разрешила бросить, добавив: «Скоро пожалеешь». Я бросил, через три года, еще не окончив школу, пожалел и потом долго не мог понять, почему так сопротивлялся. Задним числом полагаю, что я тогда подсознательно нащупал слабое место в маминой силовой структуре: плохо учиться в школе было бы прямым вызовом, этого я не посмел, а вот саботировать факультативную игру на рояле оказалось позволительным.

Твердо определялся и мой круг чтения. Классе в пятом все взалхлеб читали шпионские боевики Ник. Шпанова «Заговорщики» и «Поджигатели». Это была густопсовая сталинская макулатура,

¹ Павина (Дебора) Семеновна Рыбакова (1904–1954). Написано 9 апреля 2005 г., в день ее рождения.

и мама наложила на нее запрет. Все читали, а я не читал. Я протестовал, требовал равных с одноклассниками прав, но мама была неумолима. Впрочем, она дала слово, что через два года разрешит. Она рассчитала правильно, и Шпанов остался невостребованным.

Летом 1950 года началась корейская война. Я страстно болел за северокорейцев, обводил красным на вырезанной из «Правды» карте сжимавшуюся вокруг Пусанского плацдарма линию фронта и громко вопрошал, когда же американцев сбросят в море. Представляю себе моральную пытку родителей, не решавшихся проронить ни слова.

Это пришлось на седьмой класс, а в восьмом мама подсунула мне «Остров пингвинов» и «Боги жаждут» Франса и пьесы Уайльда. Под их разъедающим действием риторика «Правды» сгнила на корню.

С тех пор я слабо верю речам типа «Мы ничего не знали». Ведь ясно, что если в газете такое вранье, то десятки лет поддерживать его можно только лагерями. С другой стороны, ничего подобного Франсу и Уайльду русская литература, особенно в советском каноне, не предлагала. Разве что Салтыкова-Щедрина, но он все-таки тяжеловат.

(Лет двадцать назад в Вашингтоне Аксенов рассказывал, как к нему обратились американские собратья-литераторы, естественно либералы, с призывом подписать что-то в защиту сандинистов. Он отказался. Они спросили: «А что, у вас есть новые данные?» — «Да нет, — сказал он, — у меня очень старые данные».)

Мамина воспитательная программа не сводилась к идеологической профилактике. Запомнилось, например, уникальное определение поэзии. На мой вопрос, как читают стихи, мама ответила: «Стихи не читают, их почитывают».

Стихи, в том числе Пастернака, включая «Сестру мою — жизнь», аккуратно переписанную восемнадцатилетней маминной рукой в альбом крокодиловой кожи с застежкой (он и сейчас у меня), в изобилии стояли на полках. Однако попытки почитывания оставались безрезультатными — Пастернака я не понимал.

Понимание пришло через четыре года после маминой смерти, летом пятьдесят восьмого, в Коктебеле, на пляже, где в руках у меня оказалось двуязычное итальянское издание, принадлежавшее моему новому знакомцу Энцио Ферреро. Вернувшись в Москву, я рапортовал своему любимому учителю Вяч. Вс. Иванову, что наконец понял Пастернака. «Самое время, — отреагировал он, — тут над ним сгущаются тучи». В октябре Пастернаку присудили Нобелевскую премию, и разразился скандал с «Доктором Живаго».

Пониманию текстов я с тех пор посвятил всю свою профессиональную жизнь и, как это бывает, склонен переоценивать важность любимого предмета.

Однажды я позволил себе резко высказаться о новом знакомом. «Как ты можешь так уверенно говорить, ты же его почти не знаешь?» — возмутилась Ира¹. «Почему? — нагло парировал я. — Я уже слышал от него больше ста фраз». (Сто пропповских сказок, сто синонимичных предложений, сто новелл Боккаччо были начертаны на наших структуралистских знаменах.)

Другой раз мне удалось убедить Мельчука, ни в грош не ставящего поэтику, в ее праве на существование. Как-то я завел речь об инвариантах. Игорь немедленно устроил публичный экзамен: на память прочел неизвестные мне стихи и потребовал определить автора. Я назвал Симонова, а в ответ на невольное одобрение перечислил симптоматичные мотивы. Мельчук был покорен — разумеется, ненадолго. (Против инварианта не попрешь.)

К 60-летию того же Мельчука, уже в эмиграции, я написал эссе «О пользе вкуса» — о том, что Россию погубила любовь к плохой литературе, вроде «Что делать?» Чернышевского, и неспособность адекватно понимать хорошую, в частности «Станционного зрителя» Пушкина: картинки с блудным сыном на стене станции впервые рассмотрел лишь Гершензон — в 1919 году (то есть с роковым опозданием на два года).

Однажды по телевизору выступала одна моя старая знакомая. Мне она, как всегда, терзала слух, и я был поражен реакцией мо-

¹ Моя первая жена, Ирина (Арина) Сергеевна Тархтунова-Жолковская-Гинзбург (р. 1937).

его приятеля, некогда андеграундного, а ныне широко признанного поэта: он счел выступление полезным.

— Но тон, стиль! — упорствовал я.

— Ну что стиль?!. — сказал поэт, сам безупречный стилист. — Она говорила правильные вещи, особенно нужные сейчас, когда свободы под ударом. Вот мне предстоит появиться в той же программе, и я не уверен, что со своими узкими интересами окажусь полезным народу.

— А может, для народа, то есть, собственно, для интеллигенции, которая смотрит эти передачи, ваш индивидуалистический опыт самоотделки гораздо ценнее, чем очередные прописи в назидательном советском ключе? И вообще, стиль содержательнее содержания. Тартюф, например, говорит только хорошее, но так, что все видят его насквозь.

...Ну, не все, почти все. Все, кроме Оргона — до поры до времени, и его матери, г-жи Пернель, — до самого конца.

Беда, если кому не повезет с мамой.

Папа¹

(Из воспоминаний)

Не будучи моим родным отцом, а формально и отчимом, он был единственным папой, которого я знал (а я — единственным объектом его отцовства).

Мама училась у него в консерватории, он дружил с ней и моим отцом², а когда в возрасте 34 лет тот утонул (мне не было года), он очень поддерживал маму. Они постепенно сблизились, но поженились только с началом войны, чтобы не потеряться в надвинувшемся хаосе. Не усыновлял он меня сознательно, чтобы не осквернить своим пятым пунктом моего, идеально чистого³.

¹ Лев (Лео) Абрамович Мазель (1907–2000), доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.

² Константин Платонович Жолковский (1904–1938).

³ По советской системе родства я считался и был потом записан в паспорте русским, хотя по иудейской — я круглый еврей, благодаря обеим бабушкам, не говоря о деде по материнской линии.

Это продуманное сочетание близости с отстраненностью характерно. Гармонию он постоянно поверял алгеброй, — в конце концов, это была его профессия. Тем более что вдобавок к консерватории он параллельно окончил мехмат МГУ.

Он был воплощенная корректность и пунктуальность, и на эти темы он мог быть неприятно зануден, но чаще изобретателен — как когда ставил мне в пример Прокофьева, который, идя в гости с женой, настаивал на том, чтобы приехать заранее, и в любую погоду заставлял ее гулять с ним вокруг дома до назначенного времени, чтобы позвонить у дверей минута в минуту.

Сухарем он никак не был. Помню отголоски (в разговорах за чайным столом в годы моего детства) периодически возобновлявшихся дебатов о предполагаемой виновности Сальери в отравлении Моцарта. В качестве наиболее ярких участников дискуссии упоминались Б. С. Штейнпресс (1908–1986), отец моего сверстника и приятеля еще по эвакуации Толи, известного собирателя бардовской песни (ум. в Лос-Анджелесе в 2006 г.), и И. Ф. Бэлза (1904–1994, отец знаменитого Святослава Игоревича, 1942–2014). Не уверен, брал ли папа чью-то сторону, но хорошо помню, что он лукаво драматизировал конфликт между «представителем мирового сальеризма» Штейнпрессом, редактором энциклопедических словарей, человеком солидным, основательным, тяжелым («Подумай, — говорил папа, — *штейн*, „камень“, да еще и *пресс!*») — и руками показывал, как этот каменный пресс давит), и моцартианцем Бэлзой, который уже тогда (а в 1960-е годы и на моей памяти) одевался с европейским шиком (помню его щегольскую белую бабочку) и, будучи выездным, мог быть лучше осведомлен о состоянии мировой науки, но держался обвинительной пушкинской версии.

В связи с этим вспоминается встреча в Лос-Анджелесе с Николаем (Николаем Леонидовичем) Слонимским (1894–1995), дирижером, композитором и музыкальным лексикографом, прожившим почти всю свою взрослую жизнь в эмиграции. Ему было слегка за 90, но он был бодр, встретил меня в шортах, мы быстро покончили с приведшим меня делом и разговорились на разные темы.

Началось с Пушкина — Слонимский вспомнил, что брат когда-то говорил ему, будто найдена какая-то совершенно непепе-

чатная поэма Пушкина, так вот, нет ли у меня сведений о ее судьбе. Под братом, по-видимому, подразумевался пушкинист Александр Леонидович Слонимский (1881–1964), а под непристойной поэмой — «Тень Баркова», в конце концов опубликованная лишь в 2002 году.

Дальше разговор естественно перешел на «Моцарта и Сальери» и недавнего тогда «Амадеуса» (1984), и Слонимский похвастался своим вкладом в моцартоведение.

— Считалось, что на похоронах Моцарта было особенно мало народа потому, что хоронили его в дождь¹. Но я установил, что дождя не было.

— Как?

— А я просмотрел все газеты за декабрь 1791 года, и оказалось, что не только в Вене, но и вообще нигде в Европе дождя в это время не было.

Как раз незадолго перед тем, летом 1984-го, отчасти похожий опыт был у нас с папой. Я уже пять лет как жил в эмиграции, и мы общались только по телефону, а тут папа решился поехать на встречу со мной во Францию, но не по моему приглашению — столь непосредственную связь со мной он при этом всячески старался скрыть от властей предрежащих, — а по приглашению знакомых его знакомых, дочерей знаменитого издателя Зиновия Гржебина. Во Франции мы провели вместе месяц, в снятой мной в Париже квартире и в поездке на прокатной машине по всей стране, причем одной из целей автопробега было отыскание могилы его двоюродного дяди — великого математика Павла Урысона (1898–1924), молодым утонувшего в Бискайском заливе. Когда мы, не без плутаний, наконец прибыли в небольшой городок Бат-сюр-Мер и заговорили о наших поисках с посетителями кафе на главной площади, нас спросили, похоронен ли он на старом или новом кладбище, а узнав, что он еврей, встревожились о судьбе могилы, так как во время войны город был оккупирован немцами. Нас направили в мэрию, рабочий день кончался, но она была еще открыта. Архив представлял собой светлую комнату с книжными полками вдоль зад-

¹ Он, кстати, идет и в финале «Амадеуса».

ней стены. Молодая дама-архивариус спросила о дате смерти, каковую папа точно помнил и тут же назвал (17 августа 1924 года), она сняла с полки большой фолиант, нашла запись о смерти и похоронах, сообщила адрес кладбища, дала его план, указала номер могилы. Мы поехали, успели до закрытия и сфотографировали надгробную плиту с надписью на древнееврейском языке. На состоянии могилы и архивов оккупация (в ее мягком, вишиском варианте) не сказалась. Я сразу вспомнил, как в день Победы — 9 мая 1945 года — я смотрел с родителями документальный фильм Сергея Юткевича «Освобожденная Франция» (1944) и меня поразила незначительность разрушений — на фоне жутких картин нашей фронтовой кинохроники.

В семье и среди знакомых считалось, что мама строгая, а папа добрый. Тогда все зачитывались «Сагой о Форсайтах» Голсуорси, и папа охотно принимал сравнение с отличавшимся терпимостью Джолионом-старшим. Мама была строга не только со мной, но вообще со всеми. Она не терпела фальши и с некоторыми давними подругами навсегда раззнакомилась после того, как они плохо повели себя во время антиформалистской и антикосмополитической (антисемитской) кампаний 1948–1949 годов. Папа был мягче (и в результате прожил почти вдвое дольше). Хотя один из немногих он в своих «ошибках» не покался, демонстративные резкости не входили в его репертуар. Он был воспитан и подчеркнута корректен, может быть даже чересчур, — в порядке глубокоэшелонированной обороны беспартийного еврея-интеллигента от окружающего хамства. Он аккуратно и подробно отвечал на письма, принимал и поддерживал искавших его просвещенного внимания коллег с периферии, поздравлял знакомых и родственников с днями рождения и годовщинами свадеб, выражал соболезнование в связи с кончинами, помнил все соответствующие даты и имена-отчества и был внимателен как к коллегам, так и ко всевозможному обслуживающему персоналу.

Однажды в электричке по дороге из Рузы в Москву с ним разговорилась врачиха композиторского Дома творчества. Она призналась ему, что иногда думает о его сходстве с Лениным.

— Почему с Лениным? — спросил он.

— Потому что у вас этикет сохранился!..

Рассказал он об этом, конечно, со смехом — чувство юмора у него было редкостное, в том числе по отношению к самому себе, так что и мне позволялось его «этикет» вышучивать. Помню, что, когда я в 1973 году женился, я услышал, как он по телефону объясняет кому-то, что чего-то там не сможет для него сделать, поскольку переутомлен — Аля женится, много хлопот, переезд, надо двигать мебель, к тому же болят уши, разыгрался «Меньер»¹, в общем, извините, не могу никак. Хватило бы уже и простой ссылки на усталость, идея же, будто он принимает физическое участие в перетаскивании мебели, не лезла ни в какие ворота, — я тут же сказал, что знаю-знаю, как он под мою женитьбу ушами двигает мебель, и в дальнейшем он охотно применял эту формулу.

Уши были одним из мотивов клубившегося вокруг него консерваторского фольклора — не столько как больные, сколько как бросавшиеся в глаза своими размерами. В музыкальных кругах ходило выражение «мазелевские ушки». А в числе его устных новелл была одна о том, как он в молодости (кажется, в конце 1920-х) путешествует с приятелем по Кавказу, как в горном ауле они знакомятся и проводят целый день с симпатичным местным учителем, и тот в конце концов добродушно задает папе все это время занимавший его — в сущности, геббельсовский — вопрос:

— Скажите, а у какого народа уши так поставлены?

Переезд на дачу был одним из ежегодных тяжелых испытаний — фургон заказывался с трудом, приезжал с опозданием, долго грузился, для чего вызывались какие-то особые помощники (в первые послевоенные годы — некий Василий Васильевич, известный в разветвленной семье папиных стареющих родственников как «человек, который»). В первой половине 1950-х годов дача снималась в Челюскинской (у дочери видного революционера Юлиана Мархлевского), и при очередном переезде ко всем трудностям добавилось перекрытие по каким-то государственным

¹ Синдром Меньера (расстройство вестибулярного аппарата) обострился у него в старости — вдобавок к отосклерозу, ослабившему его слух в четырнадцатилетнем возрасте и постепенно усиливавшемуся.

ным соображениям соответствующего шоссе. Шофер начал прикидывать возможные планы объезда, а папа вступил в переговоры с милицией, объясняя, что едет, как всегда, на дачу, к тому же в поселок старых большевиков, но все это не помогало, милиционер потребовал предъявить паспорт и вдруг просиял: «А, вы наш, калининградской!» — и разрешил ехать. Калининградом Московской области с 1938 года назывались бывшие Подлипки (с 1996 года — г. Королев), папа же родился в Кёнигсберге, победно переименованном в 1946 году в Калининград, какой и значился в папином паспорте в графе «Место рождения». Наверно, впервые оргия советских переименований принесла пользу людям.

О сталинских временах папа вспоминал постоянно, причем трагические истории чередовались с комедийными.

Когда в 1937 году в квартире, где он жил вместе с дядей по матери¹, раздался ночной стук в дверь, дядя мгновенно сообразил, что пришли за ним, разбудил папу и велел ему забрать к себе его (= дядину) пишущую машинку. Дядю увели (и он погиб), его вещи опечатали, а машинка осталась папе.

В 1946 году в Верховный Совет избирался председатель Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко (1894–1984), которому парой лет позже предстояло быть снятым со своего поста в ходе борьбы партии с формализмом Шостаковича и Прокофьева. Выдвинут он был от Ивановского избирательного округа, потому что под Ивановом располагался один из Домов творчества композиторов (где мы с папой и мамой, а потом и без мамы неоднократно бывали). Папе пришлось поехать на собрание изби-

¹ Исаак Савельевич Урысон (1877–1938), известный московский юрист, редактор дореволюционного журнала «Вестник права», неоднократно арестовывался до революции, а затем и при советской власти. Расстрелян в 1938 г., посмертно реабилитирован. Об Л. А. Мазеле и семье Урысон см.: Мочалова В. Просчитывавший судьбу // Музыкальная академия. 2007. № 3. С. 125–129 (<http://www-bcf.usc.edu/~alikh/rus/review/Mazel.pdf>); об Урысонах, в частности как жертвах сталинских репрессий, см.: Мочалова В. Литваки из рода Мордехая Яффе: попытка генеалогии // (http://www-bcf.usc.edu/~alikh/rus/review/index.htm/Mazel_litvaki.doc).

рателей и произнести предвыборную речь о Храпченко. Оттуда Храпченко прибыл в Дом творчества, где был торжественно встречен директором то ли Дома творчества, то ли всего Музфонда, великим хозяйственником (почему-то мне помнится фамилия Лемперт, но я могу ошибаться), и проведен в столовую вдоль великолепной хвойной аллеи. Аллея эта была в ударном порядке лишь накануне создана на глазах у изумленной публики путем втыкания срубленных в соседнем лесу могучих елей в не менее мощные февральские сугробы. Дав Храпченко полюбоваться на эффектный вид в кремлевском стиле, Лемперт (если это был он) демонстративно пнул одну из елей ногой, она повалилась, а он, повернувшись к Храпченко, объявил:

— Это потемкинские елки! Ха-ха-ха!! Здорово я к вам подлизываюсь?!

Храпченко, будущий академик (1979) и даже семиотик (!), с одобрительным хохотом проследовал на банкет в свою честь.

У папы я прошел неоценимую школу интеллектуального воспитания всех ступеней. Да и для многих моих коллег он был образцом ученого. Нас со Щегловым¹ он, например, учил не только строгости искусствоведческой мысли, но и здравым принципам научной прагматики, например тому, что новые методы предпочтительно опробовать на классическом материале, а новый материал вводить традиционными методами, остерегаясь шокировать неизбежно консервативную аудиторию. Он говорил об этом на собственном опыте музыковеда, битого за формализм и любовь к новой тогда музыке Шостаковича, но мы, конечно, не слушали. Он, как всегда, оказывался прав.

Познакомившись лично с одним из вождей структурной лингвистики, он удивил меня и Иру, тоже филолога, сдержанностью своего отзыва. Наперебой повторяя, какой тот замечательный ученый, мы стали допытываться, что же в нем могло не понравиться.

— Мне показалось, что у него негибкий ум.

Последовала буря протестов, но своего мнения папа не изменил. Его формулировка запомнилась и чем дальше, тем больше

¹ Мой многолетний друг и соавтор Ю. К. Щеглов (1937–2009).

поражала меня своей пронизательностью. Как известно, в глазах детей родители с годами умнеют.

Во второй половине 1960-х годов, в эпоху Пражской весны, когда мне и моим друзьям казалось, что наш подписантский порыв не напрасен и вот-вот, как поется у Окуджавы, «что-нибудь произойдет», он, предоставляя мне свободу гражданского выбора и потому не отговаривая, держался сугубо скептического взгляда на перспективы этой кампании и оказался прав. Интересно, что, когда десятком лет позже встал вопрос о моем отъезде за границу, он не только не противился, но полностью поддержал меня — с той оговоркой, что для него самого этот путь неприемлем, потому что привел бы к изъятию из оборота всего им написанного. К правильности сделанного обоими выбора он неоднократно возвращался и потом — как во времена «железного занавеса», так и после перестройки, когда я стал регулярно наезжать в Россию.

— Как хорошо, — говорил он. — Теперь, когда я постарел и обнищал¹, ты можешь меня поддерживать.

Папа давно задумал выйти на пенсию в 60 лет, с тем чтобы посвятить последующие годы написанию намеченных книг, и успешно этот план осуществил. Выбрав в молодости музыковедение, а не математику, он уже целиком отдался избранной науке, которую обогатил своим математически точным подходом, но на собственно математику уже никогда не отвлекался. Женился он один раз (и воспринимал мои матримониальные эксперименты с недоумением: «Не понимаю тебя, Аля. Мы, евреи, не разводимся») — на моей маме. Но она рано умерла, и он пережил ее на 46 лет — всю вторую половину своей жизни. Желających занять ее место было немало, но он умело обезвреживал эти поползновения, переводя их в товарищеский регистр. Претендентки на руку, сердце и квартиру становились телефонными собеседницами, советчицами, confidentками, помощницами, вливаясь в широкий круг подательниц профессиональных услуг — врачей различного профиля, инструкторш по гимнастике, домра-

¹ Постперестроечная разруха если и не ввергла его в полную нищету, то лишила честно накопленных вкладов и обесценила персональную пенсию.

ботниц, машинисток, парикмахерш, педикюрш... Еще одна стратегия страховки и еще одно проявление постоянства.

На той же диалектике безопасности и страха строились его отношения с домработницами. С одной стороны, они обеспечивали уют и защиту, с другой — превращались во властных мучительниц, от которых он чем дальше, тем больше в своей практической беспомощности зависел. Примешивалось и общесоветское ощущение зависимости от любого мелкого начальства, начиная с консьержек, слесарей и почтальонов. (Один из бывших учеников, М. А. Якубов, занял непропорционально важное место в его жизни, взяв на себя подписку на газеты!) Помню зато наслаждение, с которым папа в конце концов уволил чванливую домработницу, появлявшуюся все реже и требовавшую все больших денег. Он настоял на том, чтобы лично объявить ей об этом.

— Ну а если я соглашусь на ваши условия? — спросила она, потрясенная провалом своего шантажа.

— А я вам не предлагаю никаких условий, — сказал он.

...Постепенно он дряхлел, страдая от депрессии и других болезней, и все больше терял интерес к окружающему, хотя и сохранял поражающую знакомых ясность ума и памяти. Перестройка вернула ему интерес к жизни, но опять-таки в четко очерченных масштабах.

— Теперь мне надо дожить до приватизации квартиры и передать ее тебе, а там и помереть можно.

Выполнив где-то к восьмидесяти годам свои жизненные планы и долг передо мной и историей, он стал заговаривать о смерти регулярно и без страха — в сократовском ключе.

— Смерти я не боюсь. Я боюсь боли, больницы, беспомощности. Моя мечта — умереть при тебе. Приедешь и заодно похоронишь. Не придется срочно хлопотать о визе.

Он удивлялся своему долгожительству и даже начинал им тяготиться. Со свойственным ему юмором смаковал сигналы приближающегося конца.

Когда, чтобы сменить домработницу, мы устроили смотр нескольким кандидаткам, папа, объясняя условия, каждый раз, как бы между прочим, добавлял:

— Ну, работа, как вы видите, временная...

Году в 1990-м в квартире сломался унитаз, сантехник явился навеселе, что-то починил, но с бачком велел обращаться осторожно — спиной не опираться. Папа встревожился и спросил, не заменить ли бачок.

— Да не, ничего, — сказал слесарь, покачиваясь на пути к выходу, — он еще п-по-постоит.

— Сколько постоит? — забеспокоился любящий точность папа. — Год? Месяц? Неделю?

Слесарь качнулся в обратную сторону, мутно поглядел на папу и махнул рукой:

— В-вам х-хватит...

Когда у папы очередной раз разболелись зубы, он отказался их лечить. Вырвать — и все. Мне хватит.

Даже если жизнь ему улыбалась, он не забывал оговорить пределы своего оптимизма. В 1984-м, приехав в Париж, он, несмотря на изрядную дозу подсоветской паранойи, был бодр, и мы целый месяц весело катались по Франции. Но на вопрос, куда в следующий раз — может, в Германию (страну, где он бывал в детстве и на языке которой говорил свободно), он сказал: спасибо, хватит. Увидеть Париж и умереть.

Разговоры о смерти учащались. Во время его последней болезни я стал из Лос-Анджелеса тревожно расспрашивать его, организовывать анализы, врачей, больницу. Он сказал:

— Аля, чего ты так волнуешься? В шестьдесят три года ты вполне можешь остаться сиротой.

В какой-то момент я попытался заинтересовать его написанием мемуаров — он столько видел, столько знал, так хорошо все помнил и так блестяще рассказывал! Но он наотрез отказался:

— Мемуаристы врут. Не хочу врать!

Мемуаристы действительно врут (знаю по себе), но думаю, что в его случае речь шла не только о неизбежной забывчивости, а главное, пристрастности пишущего, но и о невозможности примирить ту печальную правду о пережитом, которую пришлось бы поведать, с его врожденной и воспитанной деликатностью по отношению к людям. Сказалась, наверно, и его установка на профессиональную цельность: «Не хочу быть шутом!» — говорил он в ответ на слова о том, что в основу мемуаров могли бы лечь его рассказы и показы из жизни музыкантов, имевшие

неизменный успех у слушателей. Так или иначе, писать воспоминаний он не стал, лишив нас, я уверен, прекрасной книги, а себя — продуктивного занятия на склоне лет.

По-видимому, к концу он утратил то желание жить, которое Гёте считал залогом долголетия. Ну, Гёте-то он пережил на целых 11 лет, а умер как бы вовремя — в самом конце XX века, в сравнительно мирную эпоху, не дожив до ужасов нового столетия, которые, впрочем, вряд ли бы его удивили.

Своей любовью к виньеткам я обязан папе — мастеру устных новелл. Лучшие всего они воспринимаются в записи на звуковую и видеопленку¹, но во многом сохраняются и в письменной передаче. По памяти приведу некоторые из них, а также другие связанные с ним истории.

Папины майсы

1. Материя и энергия

В детстве у папы была теория, что чай становится сладким не от сахара, а от помешивания ложечкой.

— Зачем же тогда кладут сахар?

— Чтобы знать, когда хватит мешать.

2. Естественный отбор

Папа отказывается принимать касторку. Его легендарная бабушка настаивает. Будущий профессор пускается на интеллектуальный блеф:

— Мы в гимназии проходим про древних греков. Они создали великую культуру, хотя не знали никакой касторки.

— Древние греки не принимали касторки? Так они таки все умерли!

¹ Онлайн доступны видеозаписи, сделанные М. А. Аркадьевым: <https://www.youtube.com/watch?v=cw914hWL6dk&playnext=1&list=PLDABB1D6EC1E104F7>.

3. Separate but equal

Бабушке сообщают, что такой-то умер. Она просит уточнить:

— А гой дер а ид?

— А гой.

— А гой?! Тозе залке.

4. «Пропала юбке!»

Бабушкина служанка — простая девушка из провинции. Языковой барьер между ними обостряет вековую подозрительность хозяйки к работнице и еврейки к шиксе.

На тревожный вопрос бабушки, где та или иная вещь, например юбка, служанка часто отвечает: «Убрата». Бабушку, незнакомую с диалектальными тонкостями русской морфологии, это приводит в панику.

— Пропала юбке! Все винесут! Я спрашиваю: где юбке — она говорит: у брата. Она все уносит к брату! Пропала юбке!! Все винесут!!!

Бабушка ходит по квартире, причитая: «Пропала юбке... Пропала юбке... Все винесут...» Потом пауза, и откуда-то из спальни доносится виноватое: «А!.. Узе есть».

5. Наша лучшенькая

Под конец жизни один из папиных старейших родственников (кажется, дядя Гуго) решил изучить и сравнить важнейшие мировые религии. Когда исследование было закончено, его спросили, какая же оказалась самой лучшей.

— Самая разумная, самая благородная — буддийская. После иудейской.

6. Дядя честных правил

Тот же дядя владел универсальным средством от желудочно-кишечных заболеваний.

— Если запор, надо больше есть, — чтобы пронесло. А если понос, надо больше есть, — чтобы завалило.

7. Хеппи эндшпиль

В семье Урысонов, папиных родственников по матери, шахматы культивировались. А среди свойственников был даже знаменитый шахматист (чуть ли не чемпион Германии) Бениамин Блюменфельд (1884–1947; http://chess.ufanet.ru/history/his_foto.htm), по семейному прозвищу Бомба.

Он, кстати, одним из первых стал изучать психологию шахматной борьбы и в 1945 году защитил на эту тему кандидатскую диссертацию. Урысоны вообще знали себе цену и не выходили за кого попало: когда один из них захотел вступить в брак с кем-то из семейства Моносонов, родительское согласие было получено не сразу, а лишь после того, как была выработана снисходительная формула: «Моносон — это почти как Урысон».

Сам папа (Л. А. Мазель, продукт еще одного мезальянса) играл для любителя очень хорошо — в силу первого разряда. Он мог играть без доски и давал сеансы одновременной игры вслепую мне и моим дворовым сверстникам. Проблемы возникали у него только с Кириллом Двукраевым, который вскоре и сам получил первый разряд (а потом поступил на философский факультет МГУ, помешался на глубинах диамата, спился, приходил одалживать трешку, завербовался на целину и там погиб). Любил папа и шахматные задачи. Когда я показал ему одну из задач Набокова, он решил ее с первого взгляда и удивился, что она составляла предмет авторской гордости.

Он очень любил рассказывать истории из мира шахмат, смакуя перипетии происшедших на его веку поединков между Ласкером, Алехиным, Капабланкой, Эйве, Ботвинником. А я помню, как в начале 1950-х он ходил в зал Чайковского на какую-то из игр матча Бронштейна с Ботвинником, бессменным тогда чемпионом мира. Папа отдавал должное совершенствам Ботвинника, как и он, доктора наук, до зубов вооруженного теорией, но его — да и многих, в том числе меня, — волновал вызов, вновь и вновь бросаемый воплощению советского шахматного истеблишмента хрупким, неровным, непредсказуемым Бронштейном. Папа пришел возбужденный тем, как Бронштейн, потеряв фигуру и неясно, на что надеясь, продолжал защищаться с такой

неистойвой изобретательностью, что Ботвинник, видимо ошарашенный его дерзостью, в конце концов согласился на ничью.

Впечатление, сказал папа, было сюрреальное, на грани провокации, как будто Бронштейн, держась за потолок, опровергал все законы природы и общества. Как сказал бы Саша Осповат, «типичный залп по Кремлю». Но Кремль еще стоял прочно: матч кончился вничью, а по условиям ФИДЕ в таком случае чемпион сохранял корону.

Так или иначе, когда лет сорок спустя, уже после перестройки, один мой знакомый — кандидат технических наук, но с разносторонними культурными интересами (то, что по-английски называется *culture vulture* — «культурный стервятник») — предложил мне лишний билет на престижную шахматную встречу (Карпов? Каспаров?), я сразу подумал о папе: для него это могло бы оказаться хорошим антидепрессантом. Приятеля, ценившего папины работы, моя идея тоже вдохновила: «Пойти на шахматы с Мазелем!!» Не вдохновила она только папу. Как я его ни уговаривал, он сказал, что времена, когда он куда-то ходил, давно прошли. Приятель огорчился, снова пригласил меня, я снова отказался и вскоре забыл об этой истории.

Но она имела завершение. В очередном разговоре приятель сказал:

— Да-а, зря ты тогда не пошел. Отличная компания подобралась, на уровне докторов наук: доктор физ.-мат. наук такой-то, доктор технических наук такой-то, доктор биологических наук такой-то — и я. Жаль, Мазеля не было...

Реплика, в сущности, гоголевская («Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я...»), но — чистая правда, взята, как говорится у Зощенко, с источника жизни.

8. Аргумент

Начало 1920-х годов. НЭп. За завтраком папа, юный интеллект, убеждает дядю в перспективности социализма. Исчерпав логические доводы, дядя, человек с раннего времени, разводит руками, окидывает глазами стол и говорит:

— Лёля! Ты же хочешь, чтобы продукты были свежжие?!

9. Как сделана Россия

В 1930-е годы папа путешествовал на пароходе по Волге. Среди пассажиров были американские туристы. Папа по-английски говорил, но с неважным произношением. (В совершенстве он с детства знал немецкий.) К концу круиза одна американка поделилась с ним своими впечатлениями:

— *Russia is badly done* (*букв.*: «Россия плохо сделана»), — сказала она.

Папа, знаменитый своими имитационными «показами», передавал это низким, подчеркнуто мужским голосом, отдельно выговаривая каждый слог. При этом в борьбе с чуждой фонетикой его рот оказывался как бы забит огромными американскими зубами. Вердикт звучал отталкивающе, но обжалованию не подлежаще.

10. Это не я пишу

В 1950-е годы в папиных разговорах за чайным столом и устных новеллах стал фигурировать музыковед-графоман с запоминающейся, иногда казалось, нарочно придуманной фамилией — Оголевец¹. Бывший работник милиции, он вел себя нахраписто, печатал огромные тома с претензией на тотальную перестройку музыкознания, скандально требовал их обсуждения и признания своего величия.

В ходе кампании по увековечению своей славы он не постеснялся обратиться за отзывом к Шостаковичу, со слов которого и стала известна эта история.

Отметая возражения, он добился аудиенции и попросил письменно засвидетельствовать непреходящую ценность его работ. Шостакович, не способный никому отказать прямо, стал, нервно наигрывая что-то пальцами на щеке (папа всегда показывал его так), всячески отнекиваться — он не читал книг Оголевца, сейчас у него нет времени с ними ознакомиться, он не музыковед, научных отзывов не пишет, это отняло бы слишком много сил...

¹ А. С. Оголевец (1894–1967).

— Не нужно ни о чем беспокоиться, — надвигаясь на него, с угрожающей членораздельностью объявил Оголевец. — Я все подготовил. Вот отзыв. — Он раскрыл портфель и протянул Шостаковичу отпечатанный текст с зияющим местом для подписи.

Шостакович стал читать:

«Гениальные работы выдающегося музыковеда А. С. Оголевца открывают новую страницу в истории советского и мирового музыкознания. Их историческое значение...»

— Как же вы можете так о себе писать? — спросил пораженный Шостакович, хотя после всего к тому времени пережитого, наверно, мало что должно было его удивлять.

— ЭТО НЕ Я ПИШУ, — левой рукой папа описал большую дугу и уперся указательным пальцем себе в грудь. — ЭТО ВЫ ПИШЕТЕ!!! — Правый перст он устремил на воображаемого Шостаковича.

Шостаковичу отчаянно хотелось только одного: чтобы этот ужасный человек как можно скорее оставил его в покое. Он оторвал руку от щеки, схватил ручку и подписал отзыв.

Папа говорил, что сходным, хотя и не во всех деталях, было происхождение многих текстов Шостаковича.

11. Уравнение с тремя неизвестными

Папа любил представлять в лицах рассказ Шостаковича о том, как весной 1957 года, вскоре после так называемых венгерских событий, он принимал экзамен по марксизму-ленинизму. Собственно, проводил его преподаватель марксизма, но председательствовал, в качестве главы Государственной экзаменационной комиссии Московской консерватории, Шостакович.

— Подходит очередь отвечать молоденькой девушке. Она симпатичная такая, задумчивая, думает о чем-то, ну, о том, о чем все девушки думают. На билет она ответила, но марксисту этого мало, он спрашивает: «Забвением ЧЕГО, — Шостакович поднимает палец левой руки, — вызваны события... ГДЕ?» — Указательным пальцем правой руки он пригвозждает загадочное нечто к столу. Девушка, молоденькая такая, симпатичная, думает о том,

о чем думают девушки, и совершенно теряется. А марксист-зануда уставился на нее и ждет. А она молчит. Ну, тут марксист, он тоже человек, тоже человек, — Шостакович оживляется и отбивает на щеке привычное стаккато пальцами, — тоже человек, в сортир побежал, в сортир побежал. А председатель комиссии — я, я председатель комиссии, я председатель. Он в сортир побежал, а я ей пять поставил, пять поставил, пять поставил. — Шостакович торжествующе набрасывает в воздухе три пятерки. — Я председатель комиссии.

P. S. Современный пронизательный читатель, способный насладиться контрапунктом двух не названных, но легко вычислимых переменных (события ГДЕ и думает О ЧЕМ), возможно, нуждается в подсказке относительно третьей — забвением ЧЕГО. Полвека спустя не помню точно, хотя в свое время это прочитывалось с листа. Чего-то вроде «классовой бдительности».

12. Конец поношению

Валентина Иосифовна (Джозефовна) Конен¹, в свое время папина ученица, была замужем за известным физиком Евгением Львовичем Фейнбергом (кстати, братом пушкиниста И. Л. Фейнберга²). Папа очень дружил с ними. Когда он приходил к ним в гости, Фейнберг, давая папе и В. И. наговориться на профессиональные темы, присоединялся к ним не сразу. Выждав полчаса, он наконец выходил из кабинета со словами:

— Ну как, поношение С-ва уже закончилось?
(С-в был консерваторский завкафедрой.)

13. Тема с модуляциями

Любимым отрицательным героем папиных консерваторских новелл был В. О. Б-в. Судя по всему, он был бездарный, но сравнительно невредный зануда, и я не мог понять, чем он так занимал папу. Один рассказ — и показ — был о том, как Б-в садится

¹ В. Дж. Конен (1909–1991).

² Е. Л. Фейнберг (1912–2005).

на трамвай (троллейбус). Папа изображал, как Б-в сосредоточенно вступает на подножку, целеустремленно протискивается к кондуктору, внимательно отсчитывает деньги, зорко нацеливается на билет и сдачу. Вокруг тем временем течет трамвайная жизнь: кому-то уступают или не уступают место, кто-то продвигается вперед, толкая Б-ва локтями, кто-то пытается передать через него деньги, кто-то спрашивает, сойдет ли он на следующей... Но Б-в ни на что не отвлекается — Б-в занят. Б-в полностью поглощен покупкой билета. На это время он умирает для мира и мир умирает для него, радостно подытоживал папа.

Еще забавнее была новелла о приобретении Б-вым билета на поезд в Иваново, и в ней тоже слышалась нотка личной заинтересованности. Папа живо изображал, как, отстояв очередь и сунув голову в окошечко кассы, Б-в представляется в качестве члена Союза композиторов и сообщает, что едет в Дом творчества композиторов под Ивановом, для чего ему и нужен билет в Иваново. Едет он не отдыхать — это не дом отдыха, а Дом *творчества*, — он едет работать. Работа у него важная: пишет он не о чем-нибудь, а о музыке советских композиторов.

Продолжая нагнетать нудную симметрию периодов, папа переходил к параметрам покупаемого билета. Вагон требовался купейный, поскольку Б-ву нужно было прибыть в Дом творчества не усталым, а готовым к работе; полка должна была быть нижняя, так как Б-в по возрасту и состоянию здоровья не мог карабкаться на верхнюю, и врачи рекомендовали ему нижнюю; наконец, место он просил — тут в папином голосе звенела особенно счастливая ирония — по ходу поезда, ибо заснуть против движения он не мог, а выспаться перед ответственной работой ему было необходимо.

Почему кульминационное *forte* приходилось именно на требование места по ходу поезда, слушатели не всегда понимали. В ответ на их вопрос — а если он не поступал, то по собственной инициативе — папа с удовольствием пояснял, что на полдороге к Иваново, в Александрове, железнодорожные пути были устроены так, что паровоз отцепляли и прицепляли другой, с противоположного конца состава; в результате места по ходу движения становились местами против движения. Таким обра-

зом, на торжествующе музыковедческой ноте *con brio* заканчивал папа, билет Б–ву требовался модулирующий (закономерно меняющий тональность).

Повествовательные достоинства новеллы и актерские эффекты показа были несомненны, но не исчерпывали для меня причин папиного пристрастия к этому сюжету. И вдруг однажды, когда папа в другой связи упомянул о психологических преимуществах мест по ходу поезда (кажется, возможность смотреть вперед как-то способствовала безопасности), я понял: Б–в, при всей своей научной и человеческой серости, был папиным подсознательным *alter ego*. На нем вымещались собственные страхи и унижения, собственные сомнения в ценности избранной профессии и собственные занудные предосторожности, — феномен, знакомый мне как литературоведу вообще (Лермонтов и Печорин, Флобер и мадам Бовари, Зоценко и его персонаж) и автору разбора папиной новеллы «Ессентуки, 1952» в частности (умный профессор и запуганный портной)¹.

Насчет Б–ва папа согласился легко и весело, насчет портного — с оговорками, а признание, что зоценковское недоверие я писал с него, воспринял скорее болезненно, хотя по существу и не спорил.

14. Нам внятно все

Изгнанный из Московской консерватории за «космополитизм», папа профессорствовал в Институте военных дирижеров. Институт был в ведении Министерства обороны (а не высшего образования), и его волевой начальник, генерал Иван Васильевич Петров, воспользовался случаем украсить свой штат отборной группой лиц еврейской национальности. (В те же годы в нашей средней школе № 50 историю преподавал некий Зиновий Михайлович, по прозвищу, естественно, Зяма, — доктор наук,

¹ См.: Мазель Л. А. Ессентуки, 1952 // Знамя. 1995. № 10. С. 166–170 (<http://www-bcf.usc.edu/~alikh/rus/ess/mazel.htm>); Жолковский А. К. Хэппи-энд в эпоху культа личности // Музыка: Анализ и эстетика. Сборник к 90-летию Л. А. Мазеля / Сост. К. И. Южак и др. Петрозаводск; СПб.: СПбГК, 1997. С. 98–115 (<http://www-bcf.usc.edu/~alikh/rus/ess/mazlt126.htm>).

уволенный из Института государства и права и таким образом на собственном опыте испытавший взаимодействие этих юридических категорий.) Менее удачливые изгои были трудоустроены в провинциальных консерваториях, куда выезжали на преподавательские гастроли без отрыва от московской прописки. Но речь пойдет не столько об этих малой и средней диаспорах, сколько о встречной миграции монголов.

Монголия, утратившая со времен Чингисхана доминантное положение среди стран соцлагеря, не была, однако, освобождена от внесения в его коллективную боевую мощь своей скромной лепты, и ее вооруженные силы нуждались в музыкальном обеспечении. Посредничество между Западом и Востоком, волновавшее еще Киплинга и Блока, выпало на долю консерваторских беженцев. Взаимопонимание было затруднено культурными и языковыми барьерами, но наступало.

— ...В последние годы жизни Бетховен оглох, ушел в себя, был одинок...

Монгольская группа выслушивает эту печальную повесть в недоуменном молчании. Возможно, потеря слуха не кажется им экзистенциальной катастрофой.

— Он оглох, — повторяет профессор, — ушел в себя, у него осталось мало друзей, не было любящей женщины, он был очень одинок...

Все напряженно молчат, но вдруг лицо одного из слушателей озаряется улыбкой узнавания — он нащупал логическую цепочку, понятную любому кочевнику.

— Одинокий — одиногий — один нога! Один нога — никто любить не будет!!

В другой раз излагается сюжет «Кармен» и тоже падает как в вату. Добросовестное внимание слушателей держится на исходной настороженной ноте, не только не получая финального разрешения, но, по-видимому, не вовлекаясь и в завязку. Драма любви, ревности и смерти почему-то не берет монголов за живое. Но вот наступает просветление:

— Товарищ профессор! Я понял!! Он был женщина!!!

В монгольском языке категория рода отсутствует не только у глаголов, как, скажем, в английском, но и у личных местоимений; «он» и «она» — одно и то же слово. Поэтому интеллекту-

альный прорыв неизвестного номада не уступает будущим западным прозрениям в области гендера. (Сегодняшнего американского первокурсника не поставил бы в тупик и Кармен-мужчина. Впрочем, по линии эротического дальтонизма монгольские духовики оказываются в почетной компании Льва Толстого, вычеркнувшего из своего массового издания чеховской «Душечки» нежные прикосновения к героине мужчин, но не женщин.)

Темнота монгольских студентов была предметом шуток и на филфаке МГУ, где я учился несколькими годами позже. Но в начале 1990-х, разговорившись в самолете с соседом — американским геологом, летевшим в командировку на Восток, — я услышал, что в его опыте монголы своей динамичной организованностью дадут русским сто очков вперед, так что феномен Чингисхана не представляется ему загадочным. Загадочным остается феномен русской души и партийной диктатуры, неустанно занятой отбором кадров, но не застрахованной от отдельных срывов.

15. Основы марксизма-ленинизма

В 1920-е годы, когда папа преподавал на рабфаке, один бойкий слушатель решил опровергнуть какое-то положение его лекции с помощью марксизма.

— Знаете ли вы, профессор, что по этому поводу сказал Энгельс в своей надгробной речи на могиле Маркса?

Он привел цитату.

Папа парировал:

— Да, но знаете ли вы, что возразил на это Маркс в своей ответной речи на могиле Энгельса?!

Он с удовольствием изображал, как любимый персонаж его устных новелл, директор Московской консерватории А. Б. Гольденвейзер (1875–1961), парировал требования партийного начальства поздних сталинских времен посещать вечерние занятия по марксизму:

— М-м-м, полагаю, что, м-м-м, в этом нет необходимости, поскольку мне в ближайшее время предстоит, м-м-м, встреча с, м-м-м, первоисточниками...

Приручающий смерть кладбищенский юмор был его любимым орудием. У него всегда были наготове соответствующие еврейские анекдоты.

«Ви слышали, Рабинович умер? — Ай, умэх-шмумэх, главное — это здоховье!»

«Вы слышали, Рабинович умер? — То-то я смотрю его хоронят!»

«Рабинович, вас хоронят, а вы, оказывается, живы?! — Ай, кого это интэхэсно?!»

Смерть подразумевалась не только Маркса, Энгельса и Рабиновича, но прежде всего собственная, и разговоры о ней учащались. Я уже вспоминал, как во время его последней болезни, на мои тревожные звонки из Лос-Анджелеса и попытки организовать анализы, врачей, больницу, он отвечал:

— Чего ты так волнуешься? В шестьдесят три года ты вполне можешь остаться сиротой.

Что можно было возразить на эту загробную, в сущности, речь?

Неохота к перемене мест

По прочтении подборки «Папиных майсов» в книге «Эросипед»¹ мой друг Боря Кац (который как музыковед был знаком с папой и слышал многие устные новеллы прямо от него) удивился, что я не включил историю с выездом легендарной папиной бабушки за город. Удивился и я, так как при мне папа ее не рассказывал. Тогда Боря удивился еще больше, добавив, что сам он «продает» ее уже много лет и ее концовка вошла у питерских музыкантов в поговорку. Пересказываю с его слов.

...Как-то знойным летом многочисленные бабушкины потомки решили, что ее надо вывезти за город — там трава, птички, свежий воздух. Бабушка одобрила идею, но сказала, что все не так просто. За город нельзя ехать как попало. Нужно особое загородное платье, соответствующие туфли, солнечный зонтик, длинные перчатки, ну и, конечно, специальная карета.

¹ См.: Жолковский А. Эросипед и другие виньетки. М.: Водолей Publishers, 2003. С. 93–108.

Родственники не отступились. Бабушке был заказан весь комплект обмундирования, гарантирующего от соприкосновения с некошерным загородом, и в один прекрасный день во двор въехала загородная карета с загородным кучером и загородными лошадьми с по-загородному расчесанными гривами.

Бабушка вышла на крыльцо. На ней были загородные шляпа, платье, туфли, перчатки до локтей, в руках — загородный зонтик. Оглядев карету и собравшихся за город родственников, она сказала:

— Ехать за город — это замечательно! Свежий воздух, деревья, птички... Что может быть лучше, чем ехать за город?! Лучше, чем ехать за город, может быть только одно: не ехать за город!

Стягивая перчатки, бабушка повернулась и ушла в дом.

...Слушатели единодушно оценили нарратив, но, когда я пустился в рассуждения о его экзистенциальной глубине, выявились разногласия. В отличие от меня, Бори и его жены, моя спутница не разделяла бабушкиной позиции. Страстная молодая путешественница и единственное в компании лицо нееврейской национальности, она не могла понять людей, за последние три тысячи лет досыта наездившихся за город.

Теорема Понтрягина

Одновременно с консерваторией папа учился в МГУ, на мехмате. Он с успехом его окончил и даже некоторое время колебался в выборе профессии. Победило музыковедение, в результате выигравшее от его математического склада ума.

Одним из папиных сокурсников по мехмату был видный в будущем математик Л. С. Понтрягин (1908–1988), с которым он в конце концов совершенно раззнакомился из-за антисемитских позиций, которые тот, уже в чине академика, занимал в трудные для советских евреев годы. Но о далекой общей с ним молодости папа вспоминал с удовольствием. Он любил приводить шуточную теорему, придуманную Понтрягиным в 1937 году: «Всякий советский человек будет арестован, если до этого не умрет».

Особенно эффектно звучало главное предложение: «Всякий советский человек будет арестован» — но и последующее придаточное условное утешало не очень.

Между тем теорема верна, но верна тривиально, ибо справедлива относительно всякого человека вообще. Соль в том, что для человека вообще, то есть предельно обезличенного и известного исключительно своей смертностью Кая, проблематика арестуемости была не так актуальна, как для человека советского. Теорема, нарочито сформулированная в сугубо логических, качественных терминах, была рассчитана на восприятие в ключе количественных разделов математики — статистики, теории вероятностей и т. п.¹

Тем самым она схватывала самую суть и многих позднейших дискуссий о сравнительных достоинствах советского и западного образа жизни — в частности, аргументации типа: «У них там тоже воруют, берут взятки, недоплачивают, увольняют, запрещают, преследуют, сажают, убивают...» Да, там тоже, но как-то меньше — в количественном отношении. Что для человека, тем более российского, все-таки важно, учитывая удручающие именно в этом отношении показатели его жизни, начиная с продолжительности.

«Что, ты не знаешь моего характера?»

Однажды в эвакуации, в Свердловске, когда мне было лет пять, папа должен был срочно уйти и оставить меня одного. Я не отпускал его, боясь грифона — четырехлапой нитяной фигурки, сплетенной в подарок ему кем-то из учениц. Страх держался на

¹ Я не сразу сообразил, что по своей структуре теорема Понтрягина во многом сходна с когда-то проанализированной мной остротой его старшего современника — тоже, кстати, математика, Бертрана Рассела: «Many people would sooner die than think. In fact, they do» (*букв.*: «Многие люди хотели бы скорее умереть, чем [начать] думать. В сущности, так они и делают»). Излюбленную философами смертность человека вообще Рассел использовал для разработки совсем другой темы — общечеловеческой же глупости.

легендах, выдуманных, чтобы предохранить сувенир от моих посягательств. Не отменяя действия мифологем, папа тут же объяснил, как мне, в свою очередь, защититься от грифона — магической формулой: «Мы никого не боимся! Мы не боимся зверей!» Уже из-за двери он услышал, как я дрожащим голосом начал выводить: «Мы-ы-ы... нико-во-о... не боимся-а-а...» А вернувшись, застал меня лихо кувыркаящимся на кровати и дерзко скандирующим: «Мы! никого! не боимся!! Мы!! не боимся!! зверей!!!»

Это был лишь один из преподанных им уроков сопротивления ужасам силами искусства. В те же годы у меня страшно нарывал палец (средний ноготь на правой руке так и остался утолщенным); папа ночами сидел со мной, импровизируя бесконечную стихотворную сагу с вариациями на актуальные темы. Помню строчки: *Орел высоко в небо поднялся. Вдруг видит: там висит большая колбаса...* «Колбасами» назывались аэростаты воздушно-го заграждения, и их игрушечная съедобность была тоже призвана на помощь.

В страхах папа понимал. В детстве, в «мирное время» до Первой мировой, на пляже в Сопоте (тогда — в Восточной Пруссии), бонна бросила его в воду, чтобы он научился плавать, хотя мама пообещала ему, что этого не будет. Он захлебнулся, на всю жизнь стал зайкой, а главное, навсегда сохранил болезненное доверие/недоверие к слову, обещанию, договору, порядку, власти.

Дальнейшая жизнь и особенно власть не подвели. К тридцати пяти годам он уже пережил мировую войну, революцию, Гражданскую войну, частичную потерю слуха (отосклероз), препоны для непролетарского элемента при поступлении в вуз, аресты друзей и родственников (некоторых — в его присутствии), еврейский ужас перед приходом немцев, гибель любимого брата в ополчении под Москвой, хаос эвакуации (его тогдашние письма к маме дышат готовностью к смерти). Свердловск был еще сравнительно тихой гаванью. Предстояли кампании против формализма и космополитизма, изгнание из консерватории и дальнейшие «госстрахи», превратившие его в сорок с небольшим в ипохондрика, боявшегося сквозняков и лишней десятой на градуснике, хотя я еще помню его в первые послевоенные годы любителем далеких лесных прогулок в белых парусиновых туфлях и рубашке «апаш».

Через все эти революции он, как говорится у Зощенко, сохранился. Окончил два вуза, стал, несмотря на заикание и глухоту, блестящим лектором и знаменитым музыковедом (у него или по нему практически «все» учились), не покаялся во время ждановских проработок, прожил, несмотря на тонны принятых лекарств, до 93 лет и все это время оставался для окружающих воплощением юмора, житейской мудрости и профессиональной этики. Секрет? Четкая, до маниакальности, дисциплина: пунктуальность (папа родился, как и Кант, в Кёнигсберге, и по нему тоже можно было проверять часы), организованность, корректность, соблюдение всех возможных правил, как разумных, так и просто действительных (это уже Гегель), инструкций, постановлений и предписаний врачей (включая ежедневную зарядку). Обратная сторона: требование пунктуальности и буквально-го выполнения обещаний от других и страх, страх, страх — боязнь малейших отклонений от порядка, будь то спущенного сверху или установленного им самим. Отчитывая зависевших от него людей, в частности меня, за нарушение слова, он страдал не меньше их, ибо, вымещая на них первичную травму, нанесенную матерью и щедро подкрепленную советской властью, тоже слабо державшей обещания, он отчаянно пытался вернуть слову надежность. Значительная часть комплекса по эстафете передалась мне.

Так что все это было до боли знакомо, когда, занявшись Зощенко, я обнаружил у него во многом те же страхи и те же рецепты. Я сказал папе, что пишу Зощенко с него. Помню, как он узнающе кивал, читая воспоминания вдовы о предсмертных страхах Зощенко по поводу оформления пенсии и его коронном аргументе: «Что, ты не знаешь моего характера? Разве я смогу быть спокоен, пока не выясню все?»

Когда моя книга о Зощенко вышла, я подарил ее папе с посвящением, в котором благодарил за многое и среди прочего за работу натурщиком. Книга ему понравилась, а надпись нет. Выяснилось это через год. В мой очередной приезд в Москву папа, сказав, что у него ко мне серьезная просьба, попросил выделить ему другой экземпляр и сделать на нем, не помню точно его слов, но, в общем, нормальную, приличную надпись. Кажется,

он аргументировал это желанием показывать книгу знакомым. Я пытался возражать, но, увидев, что он серьезно задет, уступил — написал что-то обтекаемое.

Его настояние на изготовлении обезличенного, формально корректного документа даже в таком интимном деле поразило меня. Диспропорция была такая же, как когда однажды по телефону через океан он сказал мне, что есть крупная неприятность. Я встревожился. Оказалось, Б. Сарнов в интервью «Известиям» пожаловался на мое ахматоворчество. Я успокоил папу, что с работы меня за это не снимут, и попросил впредь не называть крупными неприятностями ничего, кроме ухудшений его здоровья.

Приучившись с некоторых пор примерять все к себе, я, конечно, понимаю, что фигурировать в качестве оригинала не очень лестного портрета может быть неприятно. Когда Юра Щеглов двадцатью годами раньше работал над своим описанием Зощенко, он дал понять, что такую черту зощенковского персонажа, как «неспособность ответить на культурный вызов», он знает по мне. Я огорчился, но предпочел принять это как полезную критику. Юра, со своей стороны, не посыпал мне соль на раны в своих посвящениях, и никакой травмы вроде не образовалось.

Но что, если это лишь защитный рефлекс, а на самом деле вся моя работа над реинтерпретацией Зощенко — заменой культурологического прочтения экзистенциальным, сфокусированным на страхах, — диктовалась не чем иным, как подспудным желанием избавиться от травмы, переведя разговор с себя на папу?!

Папа и Юра, или Кому интересно, тому не скучно

Познакомленные мной, они прониклись взаимной симпатией — до какой-то степени через мою голову и как бы вопреки мне.

Папа услышал о Юре, когда я вернулся с предварительного собрания своей будущей университетской группы (август 1954 года). Я описал участников и рассказал, что на вопрос классной

«агитаторши», как кто готовился к началу занятий, один студент, Юра Щеглов, ответил слегка расслабленным голосом, что «перечитал поэтов — Тютчева, Фета...». Всего полтора года спустя после смерти Сталина открытое признание в интересе к подобным авторам было поступком необычным, можно даже сказать, смелым, с налетом диссидентства, и, ориентируясь на это и на иронически переданную мной Юрину домашне-мечтательную и уж совершенно не комсомольскую интонацию, папа, в тон мне повторив: «Тютчева, Фета...», сказал, что Юра Щеглов, наверно, очень умный мальчик и мне следует с ним подружиться.

Так что нашей пожизненной связью мы отчасти обязаны папе.

Юра папу тоже оценил, и прежде всего как эталон Профессора. Когда для публикации первой научной работы ему потребовался отзыв, он обратился к папе. Статья шла в только что основанную серию структурно-типологических исследований Института славяноведения, и в соответствии с ренессансным духом эпохи отзыв мог быть и не от узкого специалиста. Папе статья понравилась, и он охотно написал положительный отзыв, но с оглядкой на собственный литературоведческий непрофессионализм аттестовал статью как «во многом блестящую».

Юные остряки, мы тут же подхватили эту аптекарскую формулу, стыдя и смешая папу, и она навсегда вошла в наш иронический словарь. Папа не ударил лицом в грязь и припомнил установочное высказывание завкафедрой марксизма-ленинизма Института военных дирижеров (где коротал годы изгнания из Консерватории за космополитизм, 1949–1954), о неудовлетворительности констатации им, профессором Мазелем, приоритета русской музыкальной науки в ряде вопросов: «Приоритет в ряде вопросов — не приоритет. Приоритет есть приоритет».

К папе Юра относился с подчеркнутым почтением, меня же любил прорабатывать, в частности, за «неинтеллигентность». Какую-то роль в этом играл мой реальный облик, какую-то — общее Юрино недоверие к окружающим, но не последнюю, мне хочется думать, — очевидные риторические выгоды образа неинтеллигентного отпрыска профессорской семьи.

Папа тоже был не прочь прибегнуть в спорах со мной к Юриной поддержке. Он любил сочинять поздравительные стишки,

с не всегда удачными претензиями на блеск, вообще-то — в разговорах и устных новеллах — ему присущий. Когда я пренебрежительно отозвался об очередном таком опусе, папа апеллировал к Юре. Юра стихи одобрил.

— Да? А вот Аля считает, что они никуда не годятся. Как же так?

— Ну что ж, Лев Абрамович, нельзя отрицать, что стихи... м-м... так сказать... м-м... в традиционном стиле...

Эта формулировка была встречена общим смехом и в дальнейшем всеми троими взята на вооружение.

Сходную дипломатичность Юра продемонстрировал уже в 1990-е годы, когда начальственный коллега спросил о впечатлении от своего малооригинального доклада. Я навострил уши.

— Должен сказать, — с готовностью откликнулся Юра, — что согласен буквально с каждым вашим словом.

Кстати, оказавшись в связи с этой конференцией в Москве, Юра зашел повидаться с папой и принес черновик статьи, которую намеревался ему посвятить, на что испрашивал разрешения. Папа прочел, согласие дал, но о статье отозвался сдержанно. Юра был разочарован и попросил меня уточнить папины впечатления, в частности спросить, не скучна ли статья, и обратить внимание на сходство с его собственными работами.

Папа ответил, что сходство он заметил и оно было ему скорее неприятно. Что же касается скучности, то... нет, наверно, тому, кому это интересно, тому не скучно. Юра огорчился, но оценил горькую профессиональную мудрость обоих соображений. Статья с посвящением Льву Абрамовичу Мазелю вышла, и папа успел получить оттиск. А после папиной смерти (2000 г.) Юра написал мне, что на меня ложится долг сохранения памяти о нем.

Вот — в меру интеллигентности — еще некоторые крупницы.

Пятое марта

В начале марта 1953-го мне было шестнадцать с половиной. Я учился в девятом классе московской школы № 50 (в Померанцевом переулке), каковую в дальнейшем окончил с золотой медалью, что помогло при поступлении на филфак МГУ.

Мы жили в доме № 41 по Метростроевской улице (ныне опять Остоженке). Мой родной отец, Константин Платонович Жолковский, утонул во время байдарочного похода по Белому морю, то есть умер в 1938 году, как говорится, своей смертью, а не в лагерях, и во время войны мама вышла замуж за своего любимого консерваторского профессора Л. А. Мазеля.

На маминой семье сталинские репрессии вроде бы не отразились, их роль взяли на себя гитлеровские. Мама была из Киева, ее родители, Семен Соломонович и Софья Соломоновна, продолжали жить там, — мой дед был знаменитым в городе врачом¹. Оказавшись под немцами, они по вызову оккупационных властей (дед учился в Германии и полагал, что эту культурную нацию хорошо знает, советской же пропаганде не верил) дисциплинированно явились на сборный пункт, хотя многие знакомые предлагали их укрыть, и погибли в Бабьем Яре.

В папиной семье — а по матери он принадлежал к родовитому клану Урысонов и был двоюродным племянником великого математика Павла Урысона — репрессированы были многие.

Сам папа арестован не был, но, как я уже писал, попал под антиформалистическую кампанию 1948 года и антикосмополитическую (читай: антисемитскую) 1949 года, был уволен из Московской консерватории и восстановлен лишь после смерти Сталина.

Поскольку семья была музыкальная, тот факт, что в один день со Сталиным умер Прокофьев (которого я однажды, уже после 1948 года, видел), всячески муссировался, и в дальнейшем часто применялась шуточно-конспиративная фраза «при жизни/после смерти Прокофьева».

Мое стояние в траурном карауле в школе было кратким, школьники сменялись у скромно смотревшегося портрета в черной рамке каждые 10 минут. Это было какое-то выгороженное пространство в нижнем вестибюле школы, по дороге от входа в здание мимо вешалки в буфет; помню много красного и черного цвета, а в целом ощущение света, наверное, от солнца.

До смерти Сталина и некоторое время после нее репрессии дома не обсуждались — родители берегли меня и себя. О суще-

¹ Семен Соломонович Рыбаков (1870–1941).

ствовании такой внутренней цензуры говорит, например, следующая история. С 1950 года шла корейская война, прекращенная вскоре после смерти Сталина (в то время северокорейцы во главе с Ким Ир Сенем своего советского начальства слушались), и, как я уже вспоминал, я с боевым энтузиазмом отмечал красным карандашом на печатавшихся в «Правде» картах успеха «наших», с людоедским нетерпением ожидая, когда же американцев наконец сбросят в море у Пусана, и доставляя родителям молчаливые моральные муки.

На похороны Сталина отправились некоторые из моих школьных приятелей, но никто из них в этой ходынке не погиб. Меня не пустили родители, да я и не рвался.

Разговоров о знаменитом дыхании Чейна Стокса из того дня не запомнил, узнал о его знаменательности лишь из позднейшего общения с друзьями-диссидентами и чтения мемуаров. Атмосферы типа переданной в фильме Германа «Хрусталёв, машину!» в доме и вокруг не было.

Зато хорошо помню, что, когда во время дела врачей, незадолго до смерти Сталина, в школе на перемене возник вопрос о предательской природе евреев, большинство ребят этому воспротивилось — у всех сразу возник вопрос: «А как же Миша Коган?» Миша Коган был отличник из параллельного 9-го «А», умница, симпатяга, и говорить о нем плохо язык ни у кого не повернулся. Как известно, сразу после смерти Сталина дело врачей было прекращено. В школе, кажется, никто не пострадал — репрессий и исключений не было.

Пока шла антисемитская кампания, многие евреи были уволены с работы. Папе, как я уже писал, удалось устроиться в учреждении рангом ниже консерватории, но все-таки в Москве, а некоторым его коллегам — только «на периферии», где-нибудь аж в Баку, и летать туда по несколько раз в месяц. В 1954-м папа вернулся в консерваторию.

Смерть Сталина я переживал не особенно сильно. Вообще, я, по-видимому, был как-то в этом смысле заторможен. Не исключая, что сыграло роль массивированное вытеснение по Фрейду. Не могу припомнить, отменялись ли занятия в классах, какая была погода, что говорилось в школе и дома, кроме уже отмеченного.

А начавшие появляться и быстро развивавшиеся признаки оттепели, арест и смерть Берии, так называемое преодоление культа личности Сталина — все это вскоре отодвинуло Сталина на задний план. Но навсегда запомнилась фраза из редакционной статьи в «Правде» (примерно 1954 год), задававшая разоблачениям этого великого революционера, не лишённого, к сожалению, отдельных недостатков, умеренный тон: «Личная трагедия Сталина состояла в его чрезмерной подозрительности». Оплакивать предлагалось страдания не миллионов репрессированных, а сложной сталинской личности.

С раннего детства привыкнув к повсеместным портретам Сталина и его изображению в кино (включая «Падение Берлина»), я был убежден в его красоте, даже нет, не убежден, это не то слово, — я непосредственно воспринимал его как красавца. Помню его портрет в газете, вскоре после окончания войны, когда он присвоил себе звание генералиссимуса. Он снялся в новой белой парадной форме, сидя в кресле, с руками на подлокотниках и скрещенными ногами, очень, как мы бы сейчас в Калифорнии сказали, *relaxed*, и симпатичный донельзя.

Проходила эта эстетическая установка лишь постепенно. Я вспомнил о ней, когда однажды потом стал спрашивать знакомых немцев, как их соотечественникам мог казаться харизматичным Гитлер, с его столь очевидно неприятным лицом, противными манерами и отталкивающим ораторским стилем! Поймал себя на противоречии и осекся.

Да, помню, как в какой-то черно-белой хронике с майского или ноябрьского парада увидел, что Сталин — маленького роста, с изможденным лицом, узнаваемым, но далеко не великолепным, что произвело разочаровывающее действие. Когда это было, до или после его смерти, не уверен.

Мое развитие в диссидентском направлении началось, как я уже говорил, с чтения Анатоля Франса и Оскара Уайльда и было тоже очень постепенным. Большую роль в нем сыграла преподавательница немецкого языка, Ольга Николаевна Михеева, работавшая агитатором нашей английской группы первого курса романо-германского отделения филфака МГУ (1954–1955). Ее инквизиторские методы работы, натравливание одних на других,

поощрение доносительства и тому подобные приемы навсегда посеяли во мне брезгливое недоверие к лицемерным стратегиям власти¹.

Оттепель я воспринял очень оптимистически, а потом оптимистически участвовал в подписантстве и вообще верил, вместе со щедринским карасем, что скоро наступит эра добра и разума. И до сих пор удивляюсь, что это она все никак не наступает.

Фаллократическое воспитание

1. Молчание — золото

После войны дольше других у нас продержалась домработница Полина, оставшаяся некоторое время и после смерти мамы. Это была миловидная девушка, кажется, из-под Смоленска, с ясным лицом, высоким лбом и зелеными глазами. Свое имя она произносила почти как Пулина — не знаю, сколь закономерно с точки зрения диалектологии. Домработницы получали в Москве временную прописку, конечной же их целью была постоянная, возможная путем либо замужества, либо поступления на стройку или иной приоритетный объект, дававший место в общезжитии.

Жила она в закутке на Г-образной кухне, вечером шла на танцы или к ней приходили посидеть подружки, а то и кавалеры. Кавалеров было два, и приходили они, в отличие от подружек, одновременно. Иногда это был Мишка, блондин лет тридцати пяти, то есть явно старше нее, с острым носом, залысинами, резкими чертами лица и уверенными манерами. У меня вскоре сложилось впечатление, что он женат и, значит, не может соответствовать видам Полины, которая, однако, отдавала ему предпочтение перед его соперником Лешкой. Лешка был маленького роста, чернявый, добродушный. Он как раз хотел жениться, но Полина колебалась.

У нас с ней были вполне доверительные отношения, которых не портили мои эпизодические незрелые набег, в ампула под-

¹ См. виньетку «Надзирать и наказывать», с. 58–60.

растающего барчука, на ее и одной из ее подружек женские прелести. Как реально строилась ее половая жизнь, я не представляю: сохранялась ли, в качестве приза за будущую прописку, невинность, или же где-то за пределами нашей квартиры (на ночь гости не оставались) она в порядке аванса регулярно утрачивалась. Об этом я не спрашивал, да, признаться, и не думал, зато проблема выбора между Мишкой и Лешкой меня занимала, и однажды я спросил Полину напрямик, правильно ли я понимаю, что Мишку она любит, а Лешка — так, на всякий случай, и получил утвердительный ответ.

— А он тебя любит?

— Любит.

— Он признался?

— Мужчины не говорят. Оне тайно любят.

Я точно воспроизвожу это странное, как бы трансгендерное «оне», появившееся в этом неподходящем, маскулинистском контексте, — потому что без него максима вряд ли бы запомнилась.

Вышла Полина в конце концов за Лешку.

2. Коэффициент Каширина

Зимой 1959 года, посредине выпускного пятого курса, нас повезли на стажировку в военный лагерь — в открытом грузовике. Я простудился и по прибытии на место был отправлен в лазарет, где с воспалением легких провел треть месячного срока. Там находились несколько лежачих больных и один выздоравливающий, рядовой Каширин, болтавшийся в синем госпитальном халате между койками и в меру способностей развлекавший остальных. У него были рыжевато-пшеничные волосы, веснушки, нос картошкой и обезоруживающая, то ли глуповатая, то ли шутовская, улыбка. Лежачие приятели постоянно его подкалывали.

— Каширин, а Каширин!

— Чего?

— Каширин, ты женат?

— Не-а...

— Что так?

— А чё мне жениться? У меня... длинный.

Вероятность того, что 19-летний Каширин был женат, представлялась незначительной, — как и серьезность его мотивировки. Не исключено, что в диалогической форме тут разыгрывалась известная обеим сторонам фольклорная формула, но меня, 22-летнего, она пленила эффектным сопряжением далековатых идей — чисто количественных анатомических параметров и женитьбы, которая, как известно, шаг серьезный. Убедительная по своей материалистической сути, по форме она напоминала пародийные задачи-арифмомоиды типа: «Средний возраст работников железнодорожной станции — 47 лет, средний рост — 1 м 65 см. Какова в процентах партийная прослойка этой станции?»

Возможно, именно благодаря этому остраляющему контрапункту она засела в памяти и, катализируя неизбежно субъективные самооценки, могла отразиться на ритме моих браков и разводов.

3. Страсти по Вериге

Приятели моего старшего (троюродного) брата, физтеховца, были крепкий спортивный народ, туристы, альпинисты, яхтсмены. В том числе — статистически неизбежный в большой компании Иванов; неременный силач по прозвищу Слон, способный тащить на себе одновременно палатку и байдарку; и красавец-волейболист (Алик Бундман), игрой и фигурой которого я любовался на даче в Кратове. Но на периферии этого клуба здоровяков имелся странного вида студент, носитель не менее странной фамилии, — Слава Вериге. С искривленной фигурой (или манерой держаться?), нездоровым, как бы воспаленным, цветом лица и горящими глазами, он, кажется, не был причастен к их спортивным занятиям, однако на вечеринках и бдениях у костра появлялся, присутствуя где-то сбоку, как часть фона или хорового сопровождения. Из его речей помню ровно одну фразу:

— А из кустов доносился женский голос: «Ой! Что ты со мной делаешь?! Что ты со мной делаешь?!»

Психологическая подоплека этой реплики хорошо уловлена в «Лейтенанте Шмидте» (мне тогда неизвестном): *...на дне женщины Навек ребенку в сердце вкован Облитый мўкой облик женщины В руках поклонников Баркова*. Запомнилась же фраза, я думаю, благодаря не только своей неотразимой садистской энергетике, но и дополнительной к ней мазохистской пантомимике — всему тому страдальческому body language, которым сопровождалось ее исполнение. Облитый мўкой образ Славы Вериги и сейчас у меня перед глазами, с давних пор наложившийся на эпизод из первой серии «Ивана Грозного», где Всеволод Пудовкин в роли бунтаря-юродивого, увешанный веригами, прочерчивает своим телом сложно изломанную траекторию, опускается на землю и исчезает из кадра под властным взором Ивана.

От садомазохизма это не излечивало, но помогало его, как говорится, отрефлектировать.

4. Правило Канторовича

Борис (Роберт Анатольевич) Канторович был старше меня лет на десять с небольшим. Мы познакомились в июле 1963 года на прогулочном пароходике у одесского берега, — он заговорил со мной, как со старым приятелем, каковым я постепенно и сделался. Лицом Борис напоминал артиста Кторову — его близко поставленные глаза, нос бемолем и надменную посадку головы, телом же не походил ни на одну из когда-либо виденных мной особей Homo sapiens. Аналоги следовало искать среди каких-то смежных видов, потому что все туловище Бориса, от шеи до пят, было покрыто густой темной шерстью; волосы отсутствовали только на голове, напоминавшей готовую к вылету торпеду. Впрочем, на мысль о торпеде, снаряде или ракете наводило и все его тело, как бы изготовившееся к броску.

Характер и цели этого виртуального броска не составляли загадки: Борис был зациклен на сексе и на время стал моим наставником в этом вопросе. Он рассказывал об оргиях на Крайнем Севере, куда выезжал на эпидемии клещевого энцефалита, о двух своих приятелях-близнецах, озадачивавших женщин ночными подменами, о врачах, практикующих в обмен на сексуаль-

ные услуги... При этом он был трогательно заботлив с женой и сыном, и возникало подозрение, что весь пар ушел в дискурс.

Вечер. Звонит Борис:

— Ты дома? Что делаешь?

— Сижу занимаюсь.

— Так я приеду? У тебя можно остаться?

— Давай.

— Интересные женщины будут?

— Никого не будет.

— Ладно, еду.

— Приезжай.

— Да что я поеду?! Только символ один: Я НЕ НОЧУЮ ДОМА! Не приеду...

Главная запомнившаяся цитата из него — тоже метадискурсивного плана:

— О чем бы ты ни говорил с женщиной, она ни на секунду не должна забывать, что речь идет только об одном!..

5. Жертва тоталитаризма

В Корнелле я был сразу принят по высшему разряду. Как с легкой самоиронией признался мне декан Ален Сезнэк, выбивая мне визу в Госдепартаменте, они привыкли козырять образом диссидента, вызволяемого из лап КГБ, и чувствовать свою причастность к большой политике. Мне даже показалось, что его разочаровал мой бодрый вид — без видимых следов пыток или хотя бы голодовок.

Высшим было и то интеллектуальное общество, в которое я попал в Корнелле благодаря знакомству с Джонатаном Каллером (мы переписывались, а потом встречались еще в Москве и на моем пути в Штаты, в Париже). Это был круг корнелльских постструктуралистов (сам Каллер, Ричард Клайн, Фил Льюис, Нил Херц) — учеников и друзей Деррида, де Мана и Дж. Хиллиса Миллера. Деконструктивного подхода я не разделял, но греться в лучах отраженного величия не отказывался. Они с удовольствием мне покровительствовали, а разногласия списывали на разницу бэкграундов.

Однажды Нил Херц делал доклад в рамках какой-то престижной программы, и на него сбежался весь гуманитарный цвет Корнелла. Сути доклада я не помню, да не мог взять в толк и тогда, но помню, что он поразил меня невообразимой, на мой структуралистский взгляд, мешаниной рассуждений о французском романе, картине Делакруа «Свобода на баррикадах», онанизме и текущей политике. Мои друзья-деконструкторы были все как один, то есть без тени плюрализма, либералы, феминисты, поклонники Фрейда и противники Рейгана, и мастурбация, освобожденная отцом психоанализа из-под спуда репрессивных табу, занимала ключевое место в системе их передовых взглядов.

После доклада все высыпали в коридор, образовав вокруг Херца густую толпу, сквозь которую я не сразу пробился со своим провокационным вопросом:

— Нил, то, что вы говорили, захватывающе, но держится на постулате об универсальности мастурбации. Я не располагаю статистикой, но мой личный опыт вашей презумпции не подтверждает.

Я мыслил свою реплику как тактичное, с принятием огня на себя, выражение несогласия и был поражен реакцией докладчика и окружавших его единомышленников.

— Вот это да! Значит, аппарат сталинских репрессий проник и в детское подсознание, подавляя самые элементарные позы!..

Я не стал спорить, хотя параллель с убеждением Дон-Кихота, что невидимость великанов не опровергает их существования, а, наоборот, свидетельствует о масштабах их могущества, напрашивалась. Я подумал, что своим признанием утолил не только их теоретический энтузиазм, но и подспудную жажду доказательств моей тоталитарной угнетенности.

...А может, они и правы? Ведь, наряду со многими очевидными преимуществами, фаллократия имеет тот недостаток, что стадо самцов должно беспрекословно подчиняться вожаку. Так что появление в финале моих фаллоцентрических заметок фигуры товарища Сталина дополнительно обосновано по Фрейду, видимо не случайно им запрещенному.

Акмеизм в туфлях и халате

В доме № 41 по Метростроевской улице, где я прожил всю свою советскую жизнь, бывал Мандельштам. Он бывал там у своего собрата-акмеиста Михаила Зенкевича (1886–1973). Сын Зенкевича Женя был другом моего послевоенного детства, и я много времени проводил у них в квартире. Сначала они, как и до войны, занимали полуподвальную квартиру № 1, а потом переехали в лучшую, бельэтажную, № 27, где Женя (1939–2008) с семьей жил до своей смерти, а теперь живет его сын Сережа.

У Зенкевичей я чувствовал себя как дома. Меня родители держали строго, а Женьку баловали. Он мог без ограничений собирать марки и покупать рыбок. У него, а не у меня, проходили наши детские игры, в частности в пуговичный футбол; я предполагал всего одной командой, а Женька — целой лигой «А», так что мы по всем правилам разыгрывали собственный чемпионат. У Зенкевичей же я впервые смотрел телевизор и слушал магнитофон. Меня совершенно не стеснялись, и поэта-акмеиста я привык видеть в сиреневых кальсонах, а его жену Александру Николаевну, располневшую актрису былых времен («красавицу пленную турчанку», согласно прочитанным в дальнейшем мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам), — в халате. К ней в возрасте лет шести-семи я питал эдиповские чувства, которыми как-то раз поделился с поднявшим меня на смех Женькой.

В квартире было много книг, Михаил Александрович занимался переводами из американской поэзии, но о литературе речи практически не было. Сам М. А. вообще разговаривал мало. Александра Николаевна нигде не работала, проводила много времени на лавочке во дворе и готова была говорить о чем угодно, только не на рискованные литературные темы. Старший сын Зенкевичей, красавец-спортсмен Сергей, выбрал профессию физика-ядерщика и молодым умер от лейкемии. Женька был большим выдумщиком (сказывались писательские гены), окончил в дальнейшем иняз, но словесностью не интересовался. «Канальскими стишками» (как окрестили Мандельштамы верноподданнические стихи Зенкевича, напечатанные после поездки писате-

лей на Беломорканал) было оплачено не только благополучие семьи, но и его литературно-самоубийственная изнанка. В результате о Мандельштаме я узнал не от них, а как все — прочитав где-то в конце 1950-х годов машинописное самиздатовское собрание. Но узнав, стал спрашивать.

В ответ на мое проснувшееся любопытство Михаил Александрович однажды изобразил, как Мандельштам с завыванием и озорным выделением похабной клаузулы скандировал строчки из «Зверинца»: *Я палочку возьму суХУЮ, Огонь доБУду из нее, Пускай уходит в ночь глуХУЮ Мной всполошенное зверье!* В другой раз Александра Николаевна рассказала, как Мандельштам приходил занимать деньги.

— Бывало, истратится, придет перехватить десятку. Ну, Михаил Александрович ему дает. Он уходит, смотрим, — тут я ясно представил себе, как, поднявшись по лестнице из подвала, она смотрит вслед Мандельштаму, удаляющемуся вдоль дома и через скверик выходящему на улицу, — смотрим: он уже извозчика берет!

Неожиданная посмертная слава безалаберного Мандельштама задевала Александру Николаевну. В ревнивых тонах говорила она и о Пастернаке. В дни осенней травли 1958 года она возмущалась тем, что его письмо Хрущеву с отказом от Нобелевской премии, опубликованное в «Правде», начиналось словами «Уважаемый Никита Сергеевич!»:

— «Уважаемый!»! Попробовал бы он Сталину так написать!

В счет Пастернаку Александра Николаевна ставила также то, как хорошо он устроился в эвакуации в Чистополе, где его можно было видеть разъезжающим в санях с «хозяйкой города» (женой предгорисполкома?).

Сурово обращалась она и с собственным мужем-поэтом. Как-то много позже, наверно, в начале 1970-х, я встретил ее в скверике перед домом. Речь зашла о М. А. и выходе его книжки стихов.

— Он хотел мне подарить, но я не взяла. Он включил в нее те стихи, неприличные. Я говорила, чтобы он их не печатал. Он бегал их читать к Маруське Петровых. Вот пусть ей и дарит.

Я не помню, да, кажется, не понял и тогда, в чем состояла суть обвинения: в том ли, что Зенкевич «бегал» к Марии Петровых

в эротическом смысле слова; в том ли, что он посвящал ей и читал у нее стихи, будь то любовные или нет; в том ли, наконец, что, ослушиваясь жены, позволял себе сочинять нечто рискованно амурное, не важно кому адресованное. В расспросы я не пустился и даже стихотворение идентифицировать не попытался (в специально просмотренном мной сейчас сборнике 1973 года ничего даже отдаленно эротического нет). Запомнилось другое.

Меня поразила несвобода литературы от житейских обстоятельств. Ладно там Беломорканал, Воронеж, ГУЛАГ, Жданов, нобелевская травля — на то и диктатура. Понятно и про «страх влияния» — бумаги не хватает, пишешь на чьем-то черновике, какая уж тут свобода?! Но чтобы восьмидесятилетний поэт, так ли, эдак ли проживший сквозь весь подобный опыт, должен был при составлении первой за многие годы самостоятельной книжки оглядываться на жену — это было настоящим откровением. Слава богу, Зенкевич хоть тут не сплоховал и сориентировался на Маруську.

Несвобода эта очень знакомая. В мемуарных заметках, да и в критических эссе, все время опасаясь, как бы не сказать что-нибудь не то и кого-нибудь не того не так назвать. Особенно много приходится слышать, как нехорошо снижать образы наших кумиров неприглядными деталями. Для остротки обычно призывается Пушкин, сказавший, что великие люди, даже если и мерзки, то, врите, и мерзки-то они не так, как вы, — иначе!

Пожалуй. Но именно поэтому кумирам никакое снижение не страшно. Ну, тратил Мандельштам чужие деньги на извозчика, напевая про палочку суХУЮ, ну, любезничал Пастернак с хозяйкой Чистополя ради поддержания сестры своей жизни — все это теперь лишь ценные штрихи к портретам великих. Хуже Зенкевичу, о кальсонах которого я упоминаю уже с некоторой морально-этической дрожью (другое дело, если бы я мог пролить новый свет на исподнее Мандельштама или Пастернака), и тем более Александре Николаевне. Какой неблагодарностью отвечаю я на ее квазиматеринство и даже некоторое квазиокастовство, а заслониться ей нечем, разве что знакомством с тем же Мандельштамом. И совсем плохо мне, настолько рядовому, что я не решаюсь выписать здесь тот по-детски нескладный глагол,

которым я объяснял Женьке, что бы я мечтал делать с его матерью (ничего, кстати, такого палочного). Не решаюсь, ибо понимаю, что мои скромные персона и стилистика не выдержат его нелепости. То есть робею еще больше моего канальского соперника.

Холодные руки

Какой-то блогер написал, что в своих виньетках я слишком упираю на смерть — персонажи у меня мрут как мухи. Что тут скажешь?! Учитывая, сколько мне и моим героям лет, удивительного мало. Хотя не буду отрицать, что иногда не без удовольствия отвожу смерти роль законной развязки.

А недавно один молодой человек, знакомый знакомых, сказал, что у меня очень интересное, экзотическое имя — Алик. Пришлось объяснить, что в 1930-е годы родители часто выбирали такое уменьшительное от Александр и среди моих сверстников Алики не редкость. Так, в школе, в параллельном классе «А» у меня обнаружился тезка — Алик Тугаринов.

Я уже писал, что «А» был заповедником гениев, к которым меня, естественно, тянуло из плебейского «Б». Когда в наш предпоследний год учительница литературы, Ольга Михайловна Старикова, организовала вечерний литкружок, в него записались сплошь джентльмены из 9-го «А» и только один я из нашего.

Там своими внеклассными познаниями — например, знакомством с Достоевским, не входившим в школьную программу и мною еще не читанным, — блистали Миша Коган, Саша Самбор, Алик Тугаринов и другие, чьих имен не помню. В своем докладе о Чернышевском Алик между прочим упомянул, что граф Л. Н. Толстой называл его «клоповоняющим господином». Я был потрясен.

Мы не то чтобы подружились, но познакомились, стали общаться на переменах и после уроков; домой друг к другу, однако, не ходили.

Алик был невысок, коренаст и очень крепко сложен. На физкультуре бросались в глаза его бицепсы — он, по-видимому, занимался гантелями, если не гирями. Сочетание малого роста

с мощным торсом наводило на неловкую мысль об инвалиде, в коляске и с компенсаторно развитыми мышцами рук.

У него было внушительное лицо, хорошо вылепленные лоб, нос и подбородок, густые темные волосы. Он носил очки и смотрелся породистым интеллектуалом. На породе и даже дворянском происхождении Алик очень настаивал.

Это бывшее дворянство естественно вписывалось в ту общую стилистику интеллектуального фрондерства, которая выстраивалась из чтения полузапретного Достоевского, солидарности с гр. Толстым и презрения к революционному демократу, перепавшему своим романом юного Ленина. Согласовалось оно и с нынешней бедностью. Семья Алика жила в подвале, и ходил он всегда в одном и том же потертом темно-синем костюме. Но именно в костюме, в белой сорочке и при галстуке.

О его бедности я узнал случайно. Однажды он пришел в школу в каких-то странных перчатках с обрезанными кончиками пальцев. Я спросил, что это значит.

— В доме никогда не топят, руки мерзнут, — с каким-то усталым вызовом объяснил он. — От этого они всегда красные, как у мясника.

Тут я вспомнил, что давно заметил эту красноту, но счел чем-то само собой разумеющимся, частью его облика могучего карлы. Мне стало стыдно — и этой невнимательности, и вообще всей своей благоустроенной жизни мальчика из хорошей семьи, которому мысль о замерзании рук не могла прийти в голову.

Конец нашему знакомству наступил вместе с окончанием школы, весной 1954-го. С несколькими другими соучениками контакты сохранились, а с Аликом нет. Потому что, когда однажды заговорили о том, кто куда собирается поступать, он объявил, что выбрал школу при КГБ. На наши удивленно поднятые брови он ответил, что там и учат хорошо, и стипендия получше, и перспективы пошире, ну и разумеется, что органы отныне не такие, как при Берии.

Больше я его никогда не видел, ничего о нем не слышал и никакой убийственной пуанты у меня в запасе нет. Чем кончить, совершенно не знаю. В голове вертятся строчки: *Леди долго руки мыла, Леди крепко руки тёрла.*

Мои университеты

Belle lettre

В О ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х годов в Москве гастролеровал парижский театр «Marie Belle». Он назывался так по имени ведущей актрисы и, насколько я понял, хозяйки всей антрепризы. Мари Белль была уже немолода и, вопреки своей фамилии (псевдониму?), скорее некрасива, что, разумеется, не мешало ей с успехом играть главную роль в расиновской «Федре». До сих пор у меня на слуху ее растерянноревнивые вопросительные интонации в монологе из IV действия: «Comment se sont-ils vus?» («Где виделись они?») и т. п.

Я учился на филфаке и уже прилично понимал по-французски. В частности, я знал не только, что буква *h* не произносится, но и что есть два типа *h*: обычное и аспирированное. Разница в том, что *h aspiré* не вступает в *liaison* — не позволяет следующему за ним гласному склеиться с предыдущим словом. Например, обычное *h* в *la + herbe*, «трава», дает *l'herbe* [лерб], а *la + haine*, «ненависть», с аспирированным *h*, так и произносится [ля эн] (а не *l'haine* [лен]). Иными словами, *h aspiré* — это маркированный ноль, который не просто отсутствует, а блистает своим отсутствием. Но и блистая, все же остается нулем, не более того.

Каково же было мое потрясение, когда со сцены в зал понеслись оглушительные в своей гортанной глухоте придыхательные шипы! Театральная дикция, тем более в классическом репертуаре, сохраняет архаическое произношение. Особенно уместными

эти придыхания казались в устах Федры, на все лады — в соответствии со своей трагической коллизией и с принципиальной бедностью и, значит, повторяемостью расиновского словаря — склонявшей «ненависть». (Заглянул во французский текст «Федры». Существительное *haine* и глагол *haïr* встречаются 23 раза: 7 раз в I действии, 10 — во втором, 1 — в третьем, 3 — в четвертом, 2 — в пятом. Их употребляют все основные персонажи, чаще других — сама Федра (9 раз), причем четырежды в одном монологе и дважды в одной строке; на втором месте Ипполит (4 раза). Помимо *haine/haïr*, с *h aspiré* начинается слово *honte* («стыд»), тоже одно из актуальных и потому частых в «Федре».

Впоследствии, занявшись сомали, я сначала узнал из книг, а затем и услышал вживе в речи носителей, сколь богат может быть спектр заднеязычных, увулярных, гортанных и ларингальных согласных — от нулевых и еле слышных до взрывчато хрипящих; в конце концов, я даже научился кое-как произносить — «противопоставлять» — их. Но свистящее, подобно кнуту, *h aspiré* навсегда связалось у меня с Мари Бель.

Надзирать и наказывать

«Хижину дяди Тома» я не читал, но в детстве был на спектакле, финал которого помню. Сцена погружалась во тьму, и — находка режиссера! — луч юпитера высвечивал лицо главного негодяя-рабовладельца, а в репродукторы на весь зал звучал голос рассказчика: «Запомни это лицо — лицо врага!»

За сравнительно долгую уже жизнь я повраждовал вдоволь: со многими отдельными лицами и с целой общественной формацией. Формацию я более или менее пережил, из недругов одних уж нет, а те далеке, с некоторыми помирился, с другими разошелся, о третьих пописываю иногда не без яда, но ненависти не испытываю ни к кому. При мысли о «лице врага» в памяти всплывает лишь один образ полувековой давности.

Ольга Николаевна Михеева работала агитатором нашей английской группы первого курса романо-германского отделения филологического факультета МГУ. Должность эта была общест-

венная, неоплачиваемая, но властью облакала немалой: агитатор являл собой внештатного политкомиссара. По своим прямым обязанностям Ольга Николаевна была — не у нас — преподавательницей немецкого языка, к нам же была приставлена именно воспитывать. Плоды ее воспитания я ощущаю и сегодня.

Она взялась за дело без промедления — устроила небольшой политический процесс. В первый же месяц она поссорила «мальчиков» с «девочками», обвинив первых в невнимании ко вторым. Каждого/каждую из нас она обрабатывала отдельно, ведя долгие партийно-доверительные беседы. Мы оправдывались и сопротивлялись как умели, но умели еще не очень. Вскоре в университетской — не меньше! — многотиражке появилась инспирированная ею статья, в которой особому поношению предавались индивидуалисты Жолковский и Щеглов. «„С кем хотим, с тем и дружим“, — вызывающе заявляли они».

Но официального осуждения (кажется, выносились и какие-то выговоры по комсомольской линии) ей было мало. От нас требовалось морально разоружиться. Как О'Брайену в «1984» (вышедшем всего пятью годами ранее и нам неизвестном), ей надо было, чтобы мы полюбили Старшего Брата. После лекций она вызывала меня на долгие прогулки вокруг Манежа, расспрашивала о моей домашней жизни, о недавней смерти мамы, о дружбе с Юрой Щегловым, втиралась в душу всеми возможными способами. В ходе этих, выражаясь по-хлебниковски, свиданий меня с государством я не давал прямого отпора, изворачивался, полукровенничал, полусдавался, потом, устыдившись, полулез на рожон и лишь постепенно понял, что к чему, и оброс защитной коркой. Лицо врага запомнил.

Оно было хрестоматийное: глазки как оловянные пуговицы, насуспенные тонкие брови, поджатые губы бантиком. Ее хорошо играет Луиз Флетчер в «Гнезде кукушки». (Родители Милоша Формана погибли в немецком концлагере, сам он в 1968-м остался на Западе.) Ольга Николаевна была нестарая женщина, и ходили слухи о ее связи с ужасным партторгом факультета — инвалидом войны по прозвищу Трехногий, пьяницей, замахи-вавшимся на неугодных студентов костылями. Но мне казалось неинтересным подшивать это к делу. Того, что она со мной вытворяла, было достаточно, чтобы ненавидеть.

Что двигало ею? За проведенную работу ей, конечно, ставилась какая-то галочка, но вряд ли это было главное. Возможно, она искренне не любила умников-интеллектуалов. Возможно, вступаясь за «девочек», она изживала какие-то собственные травмы. Но прежде всего она была садисткой — с мандатом. Мандат к садизму не обязывал, он его только разрешал. Но этого было достаточно, чтобы мучить.

Она мучила, я ненавижу. Наверно, за то, что в свое время с ней не справился, и выстрел остался за мной.

Обычно я изменяю имена, а то и пол своих отрицательных персонажей, но ее называю по имени-отчеству, фамилии и профессии. Это может быть неприятно ее, так сказать, ни в чем не повинным родственникам, детям, внукам. Почему же я это себе позволяю и в каком смысле «так сказать»?

Она была, как говорится, типичной нацисткой, но денацификации в России не произошло. Ее не судили, она не признавала своей вины, не просила у меня прощения, и дети (если они есть) не просили за нее. Для них она, возможно, была любимой и любящей матерью, но это бывает и у нацистов. (Ноги на фронте нацисты тоже теряли.) В отличие от нацистских, дети Ольги Николаевны, скорее всего, не подозревают, кем была их мать. Денацифицировать ее приходится мне. И неповинны эти дети только «так сказать» — до тех пор, пока не признают ее виновной. Но тогда и обижаться им придется не на меня, а на маму.

Впрочем, верится в это с трудом. Некоторое время назад вышла книга о детях нацистских лидеров — Геринга, Гимmlера, Бормана, Гесса и др. (Stephen and Norbert Lebert. «My Father's Keeper. Children of Nazi Leaders: An Intimate Story of Damage and Denial», 2002). «Сторож отцу своему» она называется потому, что сыновья и дочки с нежностью вспоминают свое счастливое детство, заботливых родителей и бездетного, но чадолюбивого дядю Адю — и верны их героической памяти.

Как это может быть? А очень просто. Мало ли, что нацизм был повержен на полях сражений и осужден в Нюрнберге?! Это только подтверждает нацистский тезис, что сила — право. Ведь одним из победителей был Сталин (с дочкой ему, правда, не повезло) и одним из обвинителей — Вышинский.

На языке

Когда я поступил в университет (1954), слово «оттепель» было уже произнесено и постепенно одевалось плотью. На романо-германском отделении это чувствовалось.

Деканом был Р. М. Самарин, старавшийся прикрыть свою печальную антисемитскую известность образца 1949 года нарочито свойскими манерами, как бы из Боккаччо (он читал нам литературу Возрождения). Проходя по коридору третьего этажа, толстый, плешивый, с трубкой в зубах, он мог собственными руками раскидать дерущихся первокурсников, чтобы бросить через плечо патерналистское: «Школяры!..»

Однажды в этом коридоре, около вешалки, мне выпало стать удивленным свидетелем его разговора на равных со студентом необычного вида. Щуплый, белокурый, бледный, в толстых очках, сильно увеличивавших его маленькие глазки с нездоровыми веками, тот был импозантно одет — пиджак, жилет, галстук — и явно наслаждался спором. Речь шла о некоем Дольберге, аргументы с обеих сторон не иссякали, и тогда Самарин, по-гаерски закрыв дискуссию чисто силовым: «Что и требовалось доказать, Бочкарев!» — победно удалился.

Оказалось, что о Дольберге на факультете знали многие, но говорили не вслух, а заговорщическим полупшепотом. Александр (Алик) Дольберг, студент романо-германского отделения, поехал в Англию с одной из первых туристических групп, сбежал и стал невозвращенцем, а вскоре и сотрудником русской службы Би-би-си. («Есть такой обычай на Руси — вечерами слушать Би-би-си», — гласила интеллигентская мудрость.) Скандальной славе Дольберга способствовала фонетическая переключка фамилий с почитаемым комментатором той же станции А. М. Гольдбергом, которого в кругах московских пикейных жилетов принято было панибратски-конспиративно называть по имени отчеству («Да? А вот Анатолий Максимович полагает, что Голда Меир...»).

Дальнейшие детали о побеге моего тезки я узнал не от кого иного, как Бочкарева. Познакомились мы в ходе факультетской постановки — на языке — нескольких сцен из «Пигмалиона».

Бернард Шоу был борцом за мир, другом Советского Союза и потому дозволенным автором. Труппа состояла из старшекурсников во главе с Володей Бочкаревым, и они пригласили меня на роль профессора Хиггинса. (Выбирать им особенно не приходилось — лиц мужского пола, приличного роста, говорящих по-английски, на филфаке было раз-два и обчелся.) Когда дошло до генеральной репетиции, мы поехали в какую-то театральную мастерскую, и нам выдали реквизит — костюмы, платья, шляпы; я получил темно-коричневый шлафрок со шнурочками и продолговатыми деревянными пуговицами.

Лидерство Бочкарева объяснялось просто. Будучи сыном советского дипломата, выросшим в Лондоне и Нью-Йорке, и прирожденным полиглотом, он виртуозно владел английским — литературным, разговорным, бруклинским, тexasским, королевским, кокни, you name it. Сначала я его побаивался, но Володя оказался застенчивым, ранимым юношей, покушавшимся на самоубийство, и охотно проводил со мной — смотревшим ему в рот новобранцем — массу времени. Он привел меня в букинистический магазин иностранной книги на Никитской и мог бесконечно ходить по городу, рассказывая о Нью-Йорке, неведомых американских авторах (от него я впервые услышал имя Микки Спиллейна) и факультетских знаменитостях.

Он знал не только Дольберга, но и его отца, отставного кагэбэшника. (Возможно, отцовские связи и помогли Дольбергу с выездом в капстрану.) Шум по поводу побега еще не улегся, как отец стал звонить в Институт мировой литературы, в сектор, где Алик подрабатывал каталогизацией англоязычных изданий.

— Говохит стахший Дольбехг. Мой сын недополучил у вас деньги...

Взявшая трубку сотрудница в ужасе залепетала, что ничего сказать не может и позовет заведующую. Но и та растерялась:

— Вы знаете... я не знаю... понимаете... дело щекотливое...

— Чего там щекотливэ, у меня довьехенность есть...

По словам Володи, деньги были дополучены.

Наша постановка имела успех. Играл я, полагаю, так себе, но, натасканный Пигмалионом—Бочкаревым, сумел по-британски озвучить знаменитую реплику Хиггинса в той сцене, где оскорб-

ленная вопросом о шлепанцах Элайза, утратив свежеприобретенный лоск, выпаливает неграмотное *them slippers*, а Хиггинс поправляет ее: *those slippers*.

Элайзу играла студентка на курс старше меня. В ее русской речи слышались какие-то странные обертоны, и я гадал, не это ли определило Володин выбор. В дальнейшем она стала сотрудницей американского сектора ИМЛИ, и мы неожиданно встретились десятилетия спустя, когда в составе советской делегации она приехала в исследовательский центр в Северной Каролине, где я был на стипендии.

Тот театральные опыт остался в моей жизни уникальным. Вспоминается он часто — при попытках изобразить британский акцент, при очередном вхождении, после долгих каникул, в ампула профессора и чуть ли не на каждом докладе, отягченном неизбывным русским акцентом, — особенно с тех пор, как, выходя с престижного лос-анджелесского семинара, участники которого, исключительно выходцы из России, изъяснялись изо всех сил по-английски, мой приятель сказал, что больше всего это напоминало спектакль на языке в советском педвузе.

Володя Бочкарев был одним из предтеч сладостной новой эпохи, когда язык стал худо-бедно доводить до Киева, но, как водится у предтеч, войти в нее ему не было суждено. После спектакля я потерял его из виду, а вскоре узнал, что он покончил самоубийством.

Эльсинорские страдания

Интуитивно читать в душах людей мне не дано. Но я не оставляю попыток, призывая на помощь все доступные средства интеллектуального, в частности литературоведческого, аппарата. Возможно, потому я так привязан к формату виньетки — прозрачного в своей завершенности фрагмента жизненного текста.

Наш первый год на филфаке, 1954/1955. Мы с Юрой ходим на кафедру зарубежных литератур. Главная фигура там Самарин, хотя заведует не он, а Ивашева. Он — декан факультета.

Юра хочет писать курсовую у Самарина, который его привлекает. Привлекает, наверно, потому, думаю я уже тогда, что видит

в нем бесспорного русского и к тому же безобидный тип рассеянного чудака-ученого, в очках и с застенчивой улыбкой. (Так в Юре будут ошибаться многие.)

Ко мне он расположен меньше. Потому, говорю я себе, что, встретившись с ним глазами, я их не опускаю. А может, наоборот, я не позволяю себе опустить их потому, что он, сразу же раскусив меня, сразу же и лишил меня расположения. Так или иначе, карты раскрыты.

Писать Юра хочет об ирландских сагах. Самарин не против и советует заодно заняться древнеирландским языком, для чего обратиться к специалисту, профессору Ярцевой. Юра рад бы выучить еще один язык (в дальнейшем их наберется немало), но знакомиться с Ярцевой медлит. Он не контактен — подойти к неведомой даме-кельтологу ему трудно.

Самарин принимает своих студентов у себя в деканате. При очередной встрече он спрашивает у Юры, как с древнеирландским. Юра мнетя:

— Дело в том, Роман Михайлович, что я не знаю профессора Ярцеву в лицо...

— Вы не много потеряли. Лицо Виктории Николаевны не главное из ее достоинств. Вам она может быть полезна скорее своими лингвистическими познаниями.

(Однажды опознанная наконец в коридоре, Ярцева действительно оказалась на редкость уродливой, нескладной, да и неприятной. Ей было суждено надолго пережить Самарина, стать академиком, директором Института языкознания и главным редактором главного лингвистического журнала. Пошел ли Юра к ней тогда или нет, не помню, но древнеирландским занялся.)

Мы долго смаковали немислимое тот Самарина. На привычном официальном фоне цинизм звучал свежо, а искусство разбираться в его сортах приходило медленно.

Классический образец начальственного юмора — угроза Наполеона генералу Ожеро, который был на голову выше него, лишить его этого преимущества. Острота Самарина была в том же роде, хотя и с вариациями. Сказана она была Юре, а метила в Ярцеву, так что удар был, с одной стороны, рассредоточеннее, а с другой — коварнее и потому страшнее.

От Самарина исходили зловещие флюиды властного карнавала. На каком-то уровне я это ощущал (не мог не ощущать, для чего, собственно, и ведется такое облучение), но ясности, не говоря о готовности к отпору, не было еще долго.

Я пытался заигрывать. При обсуждении доклада Димы Урнова о «Гамлете» (помнится, в большой, круглой «второй» аудитории на Моховой) Самарин для порядка напал на своего протеже:

— Вы там, Дмитрий Михайлович, говорили что-то сомнительное, о кризисе воли и веры, если я правильно расслышал. Воли и веры — что это такое?

— Это аллитерация, Роман Михайлович, — с места выкрикнул я.

Самарин покосился на меня, ответом не удостоил, и дискуссия о марксистском решении вечных вопросов продолжилась.

Свою реплику я с перерывами мысленно пережевываю уже полвека. Остроумно? Пожалуй. К тому же формалистский удар по пышной риторике Урнова. Плюс открытая вроде бы партизанская вылазка против всех — Урнова, Самарина, порядка ведения. Ну, желание покрасоваться по молодости лет простибельное (впрочем, от него я так и не излечился). Но силовой рисунок оставляет желать лучшего. Подражание Самарину, демонстрация доверия к даруемой им карнавальная свобода и надежда ему понравиться, несмотря на легкую ауру непокорства, а вернее, благодаря ей. И жалкая неудача. Вся оттепель как в капле воды.

Вскоре я ушел из зарубежки в лингвистику. Идеологическая атмосфера на самаринской кафедре оказалась слишком густой. Формально я ушел от презируемой Самариним Ивашевой к Вяч. Вс. Иванову, но он правильно воспринял это как уход из сферы его влияния в хотя и разрешенную, но идеологически нейтральную, а потому подозрительную область филологии и никогда не простил мне этого. Возможно, сыграло роль и ревнивое неприятие им харизматичного молодого соперника. Так я приобрел себе первого врага, облеченного властью. Собственно, двух, но до будущих конфликтов с обожаемым новым руководителем было еще далеко.

Сардельки с человеческим лицом

Одним из ранних и навсегда запавших в душу знамений оттепели был открывшийся году в пятьдесят четвертом чешский ресторан «Пльзень». Все чешское, польское, венгерское, да даже и эстонское, играло в те времена роль первых ласточек новизны, еще соцлагерной по форме, но уже европейской по содержанию.

«Пльзень» располагался в ЦПКиО — Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, рядом с Крымским мостом. Фирменным блюдом там были *шпикачки*, очень похожие на наши сардельки, но отличавшиеся как составом — белыми вкраплениями сала, так и способом приготовления: крест-накрест надрезанные с обоих концов, при зажаривании они растопыривали восемь незабываемо подгоревших отростков. Кажется, надрезание диктовалось повышенной жирностью шпикачек, при высокой температуре требовавшей выхода. («Настоящие сосиски должны прыскать».)

К шпикачкам, естественно, подавалось пиво, в том числе, наверно, «Пльзеньское», знаменитое особым процессом отстаивания пены, но этих тонкостей моя память не сохранила (пиво я вообще распробовал позже). Не сохранила она и типа сосудов — были ли это граненые стаканы, стеклянные кружки или изящные тюльпановидные бокалы. Запомнилось главное: шпикачки, пиво и витавший над вызывающе-простыми деревянными столами призрак свободы.

Под тем или иным соусом он и потом продолжал забредать в наши палестины. Однажды, когда я уже был сотрудником прогрессивной Лаборатории машинного перевода, дружественный нам Арон Борисович Долгопольский, один из отцов-основателей советской ностратики, встретившись мне в полутемном коридоре иняза, вдруг поднял сжатую в кулак руку и демонстративно торжественным, чуть не загробным голосом произнес: «Uhuru!» Тогда я еще не помышлял об африканистике, но на дворе стоял 1960 год, год массового сбрасывания Черным континентом цепей колониализма, и суахильское слово *ухуру*,

«свобода», было знакомо не только «полиглотателю Арону», но и рядовым читателям «Правды». Цепи, впрочем, были сброшены несколько преждевременно — угрюмые коннотации тройного «у» овещаются с тех пор со все более и более удручающей убедительностью.

Шпикачки же, в общем, не подвели, обернувшись со временем Пражской весной, а там и бархатной революцией. Помню также, как в августе 1979 года, впервые оказавшись по другую сторону железного занавеса, я никак не мог вдоволь наесться жареными вюрстлями, продававшимися в Вене на каждом углу, чуя в них, несмотря на гастрономические отличия, реинкарнацию шпикачек четвертьвековой давности.

Кухонный привкус этих рассуждений никак их, я думаю, не роняет. Еда и питье, особенно на людях, — дело серьезное. Призрак свободы был дан нам в ощущении — в обличье, казалось бы, сугубо телесном и частном, но в то же время одухотворенно публичном, открывавшем новое политическое пространство. В «Пльзене» мы причащались плоти и крови мировой культуры.

Общая теория дешифровки

Летом 1959 года мне случилось присутствовать при передаче Ю. В. Кнорозовым новосибирскому кибернетику Устинову фотокопий текстов на языке майя. В дальнейшем последовала сенсационная «машинная расшифровка» этого языка Устиновым и его коллегами, недолгая шумная их слава, затем публичное разоблачение их халтуры Кнорозовым и, наконец, забвение. Но тогда ни о чем этом нельзя было догадываться. Был медовый месяц кибернетики, и мой учитель, Вяч. Вс. Иванов, осуществлял историческую стыковку великого Кнорозова, уже прославившегося своими открытиями в области дешифровки письменности майя, с представителями грядущей электронной цивилизации...

В кабинете у В. В. были Кнорозов, Устинов и я, зашедший по другому делу и приглашенный остаться, чтобы стать свидетелем эпохального события.

Легким манием руки передвинув к Устинову толстую кипу фотографий с иероглифами майя, Кнорозов сказал:

— Собсьсно говоря, сама по себе эта филькина грамота меня мало интересует. Меня интересует, что ли, общая теория дешифровки. Если угодно, я бы, тек скезеть, сказал пару слов...

— Конечно, конечно, Юрий Валентинович, это очень интересно, — поддержал В. В.

— Имеются, тек скезеть, знак и референт, что ли. Ну, тут возможны четыре случая. — Он набросал излюбленную структуралистами табличку с плюсами и минусами. — Если знак известен и референт известен, то это случай обычной, тек скезеть, лингвистики. Если референт известен, а знак неизвестен, то здесь, тек скезеть, мы имеем дело со всекого рода, что ли, разработкой терминологии и искусственными языками. Этт как, не вызывает пока возражений?

— Нет, нет, очень интересно!..

— В таком случае я, с вашего разрешения, буду продолжать?

— Да, да, просим!..

— Тек вот, третий случай — это когда знак известен, а референт неизвестен. Здесь я полагаю поместить дешифровку.

Определив место собственной дисциплины, он выдержал небольшую паузу. Слушатели затаили дыхание.

— Ну а четвертый случай... тек скезеть, чего уж тут?

Глядя на два минуса, Кнорозов развел руками.

21 августа 1959 года (Восьмое августа по-старому)

Мне посчастливилось видеть, слышать, целый вечер наблюдать вблизи Пастернака и Ахматову, обоих сразу. Этим я обязан Кома (Вяч. Вс. Иванову). 21 августа 1959 года он праздновал свое тридцатилетие и пригласил меня приехать к нему на дачу в Переделкино. Я тогда только что окончил университет и начал работать в Лаборатории машинного перевода, а Кома, изгнанный с филфака за дружбу с Пастернаком, возглавлял машинный перевод в Институте точной механики и вычислительной тех-

ники (ИТМ). Это было примерно через год после скандальной травли Пастернака в связи с Нобелевской премией за «Доктора Живаго» и за год до его смерти. Кома принадлежал к числу его ближайших друзей, непосредственно поддерживавших его в эти «дурные дни». Кажется, Пастернак советовался с ним относительно «явки на суд» в Союз писателей и письма Хрущеву, напечатанного в «Правде». Говорили даже, что Кома сам написал это письмо. Для всех знавших Кому по факультету он был героем, открыто отстаивавшим в партбюро и всюду, куда его таскали, свое право любить Пастернака и его преданный анафеме роман. Но так или иначе, когда он пригласил меня к себе на день рождения, ни на какого Пастернака я вовсе не рассчитывал. С меня вполне достаточно было чести пойти в гости к обожаемому учителю.

Среди гостей были более или менее знакомые люди: родители Комы — Всеволод Вячеславович Иванов и Тамара Владимировна, его сводный брат Миша (Иванов-Бабель), логик Витя Финн (сын писателя), «эстет» Миша Поливанов (впоследствии преподававший физику у нас на Отделении математической лингвистики); кажется, были (а может быть, это было в другой раз?) Лиля Брик, Катанян и Каверин. Я сидел в одной из комнат, когда вдруг оказавшийся около меня Кома тихо сказал: «Анна Андревна», и раньше, чем я успел ее рассмотреть, мимо меня прошла высокая седая женщина — Ахматова. Она, видимо, поднялась наверх и долго не показывалась.

Ждали Пастернака. Время от времени проносилось известие, что он скоро придет, потом — что он опять задерживается. Наконец он появился. Он прошел через боковую калитку, которой его дача — соседняя — соединялась с дачей Ивановых, и поднялся на террасу. Вместе с ним пришли: его жена (плотная смуглая женщина, в свое время «отбитая» у Нейгауза, а теперь фактически оставленная ради Ольги Ивинской, поплатившейся тюрьмой за близость к Пастернаку; за столом жена не поднимала глаз от тарелки и, не обращая внимания на происходящее, непрерывно ела), сын Женя с женой (Аленушкой Вальтер, учившейся на нашем курсе) и своим сыном — внуком Пастернака Борей.

Пастернак был очень красив: невысокий, крепкий, с медно-красным лицом и серебряными волосами, он производил впе-

чатление здорового и счастливого человека. У него был голос балованного ребенка, капризно растягивающего слова. Его приход был встречен радостными возгласами, и все стали усаживаться за стол. Пастернак и Ахматова сидели друг напротив друга, у того конца стола, где и сам именинник. Я сидел на другом конце, на стороне, противоположной от Пастернака, так что его мне было видно лучше, чем Ахматову.

Помню тост, предложенный Мишей Поливановым:

— Борис Леонидович, если бы меня спросили, что я хочу взять с собой в космос, я бы взял ваши стихи.

В то время в «Литературке» и «Комсомолке» дебатировался вопрос о сравнительных достоинствах физиков и лириков, и какая-то девушка уверяла, что и в космосе человеку будет нужна ветка сирени. Пастернак как-то одновременно улыбнулся и поморщился и сказал:

— Ну что вы, Миша, ну зачем вы говорите такие глупости?

Пастернак говорил много, и для меня все это было неожиданно и интересно. Потом, дожидаясь на станции электрички, я сделал в записной книжке какие-то заметки, но наутро оказалось, что эти пьяные каракули совершенно неудобочитаемы. Некоторое время я помнил все-таки, что он говорил, и все собирался как следует записать, но так и не собрался. Что-то совершенно необычное было сказано о Гоголе. Потом он говорил о людях, которые приходят к нему в Переделкино и ждут, что он — герой сопротивления! — спасет их и возглавит, но что это совершенно не по нему и что одного такого ходока он страшно разочаровал своим несоответствием заготовленному для него пьедесталу. (Лет десять спустя, Костя Эрастов¹ говорил мне, что в Пастернаке, который первым начал движение открытого несогласия, замечательно то, что он сумел не превратить его в свою профессию, что один свободный поступок не обязывал его ко второму, то есть не поработал его, — в отличие от нынешних «революционеров», как их называл Костя.)

Разумеется, обоих поэтов стали просить прочесть стихи. Пастернак долго отнекивался, кокетничал, говорил, что не знает,

¹ Константин Олегович Эрастов (1939–1996), мой друг с университетских времен, филолог, переводчик, эмигрант.

что читать, спрашивал у окружающих, что бы они хотели услышать. Его попросили прочесть одно из последних стихотворений, тогда еще не напечатанное, но ходившее в списках и всем известное, то, в котором «залы, залы, залы, залы» («Золотая осень» из «Когда разгуляется»). Наконец он начал читать. Читал он плохо, сбивался, забывал строчки. (Я сразу вспомнил, что мама рассказывала мне, как однажды он выступал в Политехническом, кажется, уже после войны, и тоже забывал, наверное нарочно, потому что, когда аудитория тут же хором подсказывала ему, он улыбался, счастливый, что знают и помнят.)

Ахматову упрашивать не пришлось. Она сказала, что как-то раз ей позвонили из «Правды» (!) и попросили дать стихи. Она ответила в том смысле, что пожалуйста, только это очень странно и вряд ли у них из этого что-нибудь получится. Ей сказали, что уж они-то знают что делают и раз берутся, значит могут. Короче говоря, дело тянулось, тянулось и кончилось ничем. Вот эти-то стихи она и прочтет.

Ахматовой в то время было уже семьдесят лет. Это была величественная старая женщина, императрица. Зубов у нее, видимо, оставалось совсем мало, потому что, когда она стала читать:

Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое...

слышны были, казалось, одни гласные. Но это было великолепное, торжественное, звучное чтение, может быть, именно потому, что требовало от нее усилий, «танца органов речи» (как то ли Шкловский, то ли Мандельштам сказал о стихах Пастернака).

Все время, что она читала, Пастернак в такт ее голосу гудел, напевая и повторяя слоги и строчки. Когда она кончила, он тут же начал вполголоса читать только что услышанное стихотворение, заменяя или перевирая отдельные слова:

Прекрасная, право, работа —
Чудесное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать потом за свое...

Ахматова сказала:

— Ну вот, Борис Леонидович, вы когда мое читаете, то всегда улучшаете. (Она произнесла «улучшаете».)

— Чтуо вы, чтуо вы, Анна Андревна, чудесные стихи. Зачем вы их им давали? Нет, право, чудесные стихи, Анна Андревна, чудесные стихи.

— Нет уж, Борис Леонидович, это уж известно, вы когда мое читаете, то все улучшаете.

И они еще долго обменивались лестными приятностями, как какие-нибудь восточные вельможи, уверенные во взаимном уважении и преданной любви окружающих, лениво и с достоинством, Пастернак — немного по-женски и с уловками, Ахматова — с мужской прямоотой.

Шаг вправо...

В первую годовщину смерти Ахматовой состоялся вечер ее памяти, кажется, в Литературном музее, а может быть, в журнале «Иностранная литература». Я пошел на него и был огорчен скромностью и малочисленностью аудитории — это были в основном какие-то бесцветные библиотекари, а то и совсем ветхие старушки. «Неужели ЭТО ее читатели?» — подумал я. (Задним числом подозреваю, что попал тогда на какую-то нецентровую тусовку, а кто надо собрались в другом месте.)

Среди выступавших запомнился А. А. Сурков, в период оттепели способствовавший изданию стихов Ахматовой. Принявшись расхваливать ее патриотизм и гражданское мужество, всячески их советизируя, он, видимо, почувствовал, что заврался, но в последний момент вывернулся — с помощью характерного полупризнания. Он сказал, что так же по-нашенски, по-советски, она держалась и за границей, на глазах у буржуазной прессы, и не потому, что при ней были мы, писатели-коммунисты, нет, она никого не боялась и говорила по зову сердца...

«Русские поэты в воспоминаниях конвоиров» — это могла бы быть массовая серия.

Случай в Сумах

Во время велосипедной поездки из Москвы в Ярославль (1960) нам с Юрой Щегловым пришлось заночевать в ростовском Доме крестьянина — в огромном номере, где, кроме нас, было еще человек двадцать. К тому же нас положили в разных концах. Я помню, что, когда погасили свет, радио не выключили, и Белла Ахмадулина читала свои переводы из грузинских поэтов. Я слушал ее впервые и убеждался, что рассказы о том, как она прекрасно читает, не преувеличены. Потом я заснул.

На следующий день Юра встал очень мрачный и сказал, что не выспался — разговаривавшие вокруг него шоферы не давали ему заснуть чуть ли не до утра.

— О чем же они говорили?

— Ах, Алик, они говорили только об одном. Из их разговоров я понял, что советские люди ни о чем другом вообще не думают. Особенно внимательно они слушали некоего Василия Васильевича; по-видимому, он у них пользуется большим авторитетом в этом вопросе. Они все просили его: «Василь Васильич, ты расскажи, как ты в Сумах-то, как ты в Сумах-то?»

— Ну, и он рассказал?

— Рассказал.

— Что же он рассказал?

— Он рассказал довольно обычную историю, которая вполне могла произойти и не в Сумах, — историю, в которой, в сущности, ничего такого специфически сумского не было.

Свидание

Это было давным-давно, но все участники еще живы, а вот помнят ли другие двое то, что так врзалось мне в память, не знаю. Вроде бы должны, потому что история характерная. Но, как известно, об одном и том же разные люди помнят разное.

С датировкой полной ясности тоже нет. Речь идет о моем сильно холостяцком периоде перед второй женитьбой (1973),

где-то ближе к его началу — поре сложно перемежавшихся романов с тремя одноименными студентками, условно говоря, Леной-1, Леной-2 и Леной-3, из которых здесь будет фигурировать только последняя.

Еще один хронологический ориентир, тоже приблизительный, — работа над статьей, опубликованной, однако, много позже (1980). В ней предпринималось сопоставление поэтических миров Пастернака, покойного и высокочтимого, и Окуджавы, вполне живого и популярно-актуального, — путем сравнительного разбора четырех стихотворений о любви, по два от каждого.

В тот момент работа еще не столько писалась, сколько обдумывалась и иногда проговаривалась на кухне, а в один прекрасный день, причем именно днем, если не утром, была доложена на полуофициальном университетском семинаре.

В МГУ я не работал, занимая по отношению к филфаку некую полудиссидентскую позицию, и именно в этой неотразимой ипостаси был приглашен выступить. Организовала семинар то ли Лена-3, то ли кто-то еще из продвинутых филологинь. А я зазвал молодого коллегу, как раз приехавшего из Ленинграда, где мы с ним незадолго до того познакомились и сразу же разошлись во мнениях чуть ли не по всем вопросам поэтики. Я, как всегда, рассчитывал, что новейший виртуозный анализ убедит его наконец в моей железной правоте.

Семинар прошел живо: оба поэта-нонконформиста были у всех на слуху, мои идеи ложились в тоже слегка опальное структуралистское русло. Гость, однако, никакого сходства между разбираемыми текстами не усмотрел, их сравнение счел необоснованным, а двух поэтов несопоставимыми, да и вообще ни с чем в докладе не согласился — как и следовало ожидать.

Народ стал расходиться. Лена подождала, пока меня отпустят последние задержавшиеся слушатели, и мы направились к выходу, предвкушая целый вечер вдвоем. Но тут оказалось, что гость и не думает откланиваться. Он без церемоний присоединился к нам, продолжая задиристо полемизировать со мной и не обращая на Лену никакого внимания.

То ли он не замечал интимности наших отношений, то ли принципиально ее игнорировал, но он неотвязно следовал за

нами, а мы — из некоторой неловкости перед иногородним гостем — это терпели. Несколько раз я, правда, пытался перебить его вопросами о том, какие у него планы на вечер, не подсказать ли ему, как доехать, и не подойдет ли ему та или иная из станций метро, мимо которых мы проходили, — но безуспешно.

От университета до моего дома на Остоженке добрых полтора часа ходьбы, и весь этот путь мы честно проделали пешком, благо стояла ясная погода, под неустанный аккомпанемент полемических рассуждений гостя. Лишь в скверике перед домом я решительно с ним попрощался.

Четырмя стихотворениями, разбивавшимися в докладе, были «Из суевья» и «Никого не будет в доме...» Пастернака и «Мне нужно на кого-нибудь молиться...» и «Тьмою здесь все занавешено...» Окуджавы, первые в каждой паре повеселее, вторые погрустнее. Но все четыре на тему о приходе любимой в дом к автору — чем в конце концов закончилась и наша небольшая одиссея.

Знакомство с оппонентом на этом не расстроилось, хотя и в дальнейшем сводилось в основном к пререканиям, питавшимся его последовательным неприятием любых, как мне казалось, простых, разумных, самоочевидных решений и пристрастием ко всему периферийному, экзотическому, заумному и т. п. Однажды я попытался резюмировать суть наших разногласий:

— Признайтесь, ведь если бы вам пришлось задуматься, почему дети часто похожи на родителей, половая природа размножения пришла бы вам на ум в последнюю очередь?

— А разве дети похожи на родителей?!

Убивает много

Когда в середине 1950-х годов железный занавес слегка открылся для контактов с иностранцами, советский человек стал (при всем своем скрытом, а то и явном расизме) смотреть на негра как на представителя западной цивилизации и был счастлив, если тот дарил ему шариковую ручку со стриптизом и даже без. Помню, как одна знакомая хвасталась, что рассчитывает до-

стать дубленку у спекулянта, связанного со студентом-африканцем, который часто ездит в Европу и привозит дефицитные вещи. «Понятно, — сказал один из наших остряков. — Лиловый негр вам продает манто».

Занимаясь в 1960-е годы языком сомали с сомалийскими студентами, я тоже как-то забывал, что передо мной, в сущности, бесписьменные недавние дикари, что у них кровная месть и что их национальный герой «Бешеный мулла» Ина Абдулла Хасан перебил (в 1920 году) больше своих соотечественников, отказывавшихся его поддерживать, чем англичан, против которых он поднял восстание. Еще бы, ведь нейлоновую сорочку, которая легко стирается и быстро высыхает уже выглаженной (чудо бытовой химии 1960-х годов), я впервые увидел у сомалийца Махмуда Дункалья. После урока (я был у него в общежитии МГУ) он собирался в город. Когда он снял ее в ванной с плечиков, на которых она сохла, и стал надевать, я только рот раскрыл.

Поэтому другое, тоже в своем роде первое, впечатление было не менее сильным. Наши занятия начались с того, что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит «ядовитое дерево», а также «герой». Я сказал, что не вижу этимологической связи.

— Ну как же, — пояснил Дункаль, — «убивает много».

Надо сказать, что по линии сорочек мой первый учитель вообще не выделялся среди своих соотечественников. Настоящим франтом среди них был высокий, аристократичный, красивый Ахмед Абди Хаши по прозвищу Хашаре («насекомое» — так его прозвали еще в школе за крайнюю худобу), одевавшийся исключительно в Лондоне; перед моими глазами до сих пор стоит его тонкой вязки зеленый мохеровый пуловер. В дальнейшем я работал с ним на радио, был в довольно приятельских отношениях, но никогда не мог отделаться от ощущения собственной неполноценности рядом с этим принцем.

Ахмед занимал высокое положение в организации сомалийских студентов, обучающихся в СССР, имел сведения об их жизни в других городах и часто рассказывал мне о ненависти, с которой приходилось сталкиваться африканцам. Конфликты происходили в основном на классической почве секса, ибо со-

ветские девушки по тем или иным причинам разделяли упомянутое выше преклонение перед иностранцами вообще и неграми в частности.

Однажды Ахмед должен был поехать в Баку, чтобы от имени африканских студентов участвовать в расследовании совершенного там убийства двух сомалийцев. Чтобы отвести от нашей передовой страны обвинение в расизме и линчевании негров, посягнувших на белую женщину, я стал говорить что-то в том смысле, что кавказцы дикий народ, ходят с ножами и готовы резать кого угодно, не только негра.

— Что ты мне объясняешь, — сказал Ахмед, сверкая белыми зубами, — я сам могу резать.

В дальнейшем, как мне говорили, Ахмед был одно время чуть ли не послом Сомали в ГДР, а затем занимал видное положение в сомалийском правительстве. А способность сомалийцев «резать» и иными способами «убивать много», увы, подтвердилась самым бесспорным образом на глазах у всего мира, убедительно доказав, что они ничем не хуже немцев, эфиопов, хуту, тутси, кхмеров, сербов, албанцев, чеченцев, русских и других представителей цивилизованного человечества.

Культур-мультиур

1

Мое участие в Варшавском симпозиуме по семиотике (август 1968-го), первом моем заграничном, было не вполне официальным. Приехал я по частному приглашению (профессора Марии-Ренаты Майеновой) сильно заранее, побывал в Гданьске, Кракове и Татрах, с приятелем-африканистом (Анджеем Заборским) покатался на яхте по Мазурским озерам и в Варшаву явился только к открытию конференции. Но за три дня до этого произошло вторжение в Чехословакию, и ситуация стала тревожной. Поэтому Майенова посоветовала мне как-нибудь узаконить мой статус и для этого поговорить с руководителем советской делегации Полиной Аркадьевной Соболевой.

Соболеву я немного знал как соавторшу и правую руку Шау-мяна. Она была высокая, в очках, но не важная, а скорее нервная и стеснительная, как бы стесняющаяся своей некрасивости. В гостинице, где поселили участников (кажется, «Бристоль»), я узнал у портъе, в каком она номере, позвонил ей снизу и получил разрешение зайти.

В номере стоял густой запах плавленых сырков (в те времена советские люди всю еду привозили с собой, экономя драгоценную валюту для покупок). Соболева была не одна — у нее сидела соседка по коридору, неприбранная толстая старая тетка, оказавшаяся главной советской скульпторшей Е. Ф. Белашовой. Они коротали время в теплой отечественной компании, не поддаваясь соблазнам европейской все-таки столицы.

Я изложил Соболевой свой план: поскольку на конференции я все равно выступлю (я бегло сказал с чем), то лучше ей, как руководителю советской делегации, своей властью кооптировать меня в ее состав. Соболева была не против, но мялась. Особой уверенности в масштабах собственной власти она, видимо, не ощущала. Выяснилось, что она была не только руководителем делегации, но и ее единственным членом. (Кажется, другие, беспартийные члены, были, ввиду обострения международной ситуации, в последний момент сняты с пробега.) Все это мы мирно обсуждали вместе с Белашовой, которой Соболева, полностью доверившись, попросила меня кратко рассказать содержание своего предстоящего доклада, что я и сделал, хотя не особенно надеялся, что честолюбивая конструкция модели «Тема — Текст» дойдет до неподготовленной слушательницы.

Белашова вряд ли что-нибудь поняла, но взялась помочь. Ей как члену-корреспонденту Академии художеств и народной художнице СССР должен был вот-вот нанести визит вежливости советский культурный атташе в Польше, и она предложила поставить щекотливый вопрос о кооптации перед ним, переложив на него ненужную Соболевой ответственность.

Атташе вскоре появился. Это был высокого роста, нескладный, прыщеватый, сравнительно молодой человек лежало-го провинциального вида, в дешевом черном костюме. Держался он любезно, — видимо, номенклатурный авторитет Белашовой к тому

обязывал. Меня попросили тезисно ознакомить его с основными положениями доклада, и я, упиваясь типичностью рождающегося сюжета, повторил свой рассказ. От культурного атташе я ожидал большего понимания, чем от Белашовой, но по его глазам видел, что не наступает никакого.

Тем не менее свое официальное добро он, с подачи Белашовой, дал, так что мои ораторские усилия не пропали даром. А вскоре он откланялся, и Белашова отозвалась о нем с сочувствием: бедняга был, собственно, не культурным атташе, а помощником культурного атташе по делам физкультуры и спорта, но в отсутствие атташе, уехавшего в отпуск, ему приходилось, как мы видели, замещать его по самым неожиданным вопросам.

В общем, главный барьер был взят, доклад трижды обкатан и апробирован, дело оставалось за малым — одобрением Эмиля Бенвениста, Умберто Эко и Юлии Кристевой.

2

Второй подобный опыт был три десятка лет спустя, тоже, в общем, позитивный. В 2000 году, после выхода первого издания «Виньеток», обо мне решил снять документальный фильм работник телевизионного канала «Культура», знакомый моих знакомых. Мы договаривались по телефону, и он произвел на меня впечатление своей интеллигентностью и осведомленностью в вопросах истории российской семиотики. Неудобство было только одно: так как канал был не частный, а государственный, приехать ко мне с утра и сделать всю работу в один прием они не могли. Надо было заказывать автобус, то, сё, до полудня никак не выйдет, так что он планировал три дня, но в конце концов мы сошлись на двух — по четыре часа, где-то с двенадцати до четырех.

В назначенное время раздался звонок, я открыл дверь и был поражен увиденным. Я ожидал скромного интеллигента в очках, типового читателя тартуских «Трудов», а передо мной стоял занимавший весь дверной проем здоровенный гигант с бородой, устрашающего вида. За ним виднелась съемочная группа, тоже неожиданных размеров.

Они вошли, расставили аппаратуру, представились. Их было, помимо руководителя — автора сценария, четверо: режиссер, оператор, звукооператор и материально ответственное лицо. Сценарист задавал наводящие вопросы, проявляя хорошее знакомство с виньетками, режиссер, симпатичная молодая женщина, организовывала кадр и поправляла мне волосы, остроносый и остроглазый оператор снимал, звукорежиссер налаживал звук, материально ответственный товарищ молчаливо наблюдал за происходящим.

Сначала я был удивлен числом нагрывавших телевизионщиков, но быстро перестроился, усмотрев в них аудиторию, подлежащую завоеванию. В конце концов, с нарциссически-жизнотворческой точки зрения ситуация была оптимальной — они приехали, чтобы навести свои юпитеры на меня. И я принялся их — а через них и своих будущих зрителей — шармировать изо всех сил и, как мне казалось, справлялся. Сценарист был расположен ко мне заранее, режиссерша охотно смеялась, из оператора и звукооператора мне тоже удавалось выжимать смешки и улыбки. Но материально ответственное лицо оставалось, как я ни старался, непроницаемым. Ну что ж, как говорится, всех не переброешь, 80% успеха — неслабо.

То же повторилось назавтра. Мы все были уже как бы знакомы, дело шло веселее, я расходился все больше, однако материально ответственное лицо хранило неколебимую серьезность.

Но вот все кончилось, аппаратура была выключена, провода смотаны, мы стали прощаться. Я благодарил их, они меня. Последним подошел представитель непокоренной мной равнодушной природы. Пожимая мне руку, он вдруг расплылся в улыбке, дав, по благополучном истечении срока материальной ответственности, наконец выход своим эстетическим переживаниям.

— Здорово вы рассказывали!..

Р. С. Фильм получился на четверку — в качестве «американских» заставок в него вмонтировали дурацкие кадры из, как мне потом объяснили знакомые, культовой в период застоя картины

«Здравствуйте, я ваша тетя!», цитатные уже и в ней. Зато в том месте, где я описываю, как, упав на машине в ущелье, я гадаю, взорвется ли она, как в кино, или нет, они вклеили кадр с эффектно взлетающим на воздух автомобилем. А в рассказ про разговор с Антониони — соответствующий фрагмент из его фильма «Профессия: репортер».

Мой первый Шатобриан

В перерывах между заседаниями Варшавского симпозиума по семиотике, упомянутого выше, «буржуазных иностранцев» — итальянцев, французов и других представителей стран НАТО — водили на ланч в Дом журналиста, известный своей хорошей кухней. Сначала их сопровождали гостеприимные поляки, но потом они как-то освоились и решили пойти сами. Правда, потребность в славяноговорящем посреднике все-таки осознавалась, но с ними был я, и они не беспокоились.

Как назло, все складывалось очень нелепо. Долго составляли столики, долго не шла официантка, бесконечно долго выбирали блюда, что неудивительно, если учесть, что я как мог переводил с польского на французский и итальянский с примесью английского, обнаруживая ограниченное владение всеми этими языками, а главное — языком европейской гастрономии.

С муками заказанное долго не несли. Впрочем, иностранцы не унывали. Они оживленно обменивались впечатлениями о студенческих волнениях той весны в своих странах и, заказав неведомый мне «шатобриан», терпеливо ждали его появления, видимо черпая уверенность в самом названии этого бесспорно западноевропейского блюда.

Однако, когда его наконец принесли, разочарование было жестоким — варшавский шатобриан, по-видимому, значительно уступал в размерах атлантическому. Г-н Линдекенс (Бельгия) протянул:

— Mais... **c'est plutôt** un Chateaubriand de poche. («Позвольте, но это какой-то карманный Шатобриан».)

Так или иначе, на меня шатобриан (особым образом приготовленный бифштекс из вырезки) даже в карманном издании произвел неизгладимое впечатление, и я везде где мог заказывал именно его. Как я потом узнал, его название действительно происходит от имени писателя, который в бытность послом в Англии славился, благодаря кулинарному искусству своего повара, роскошными приемами.

Что же касается оппозиции «НАТО — Варшавский договор», то конференция состоялась поистине в минуты роковые, начавшись всего три дня спустя после вторжения в Чехословакию «братских сил» социалистического лагеря. Один из участников, Умберто Эко (тогда еще известный лишь в семиотических кругах), задумал было совершить автомобильное путешествие из Италии в Польшу, но был остановлен на чешской границе и вынужден пересесть на самолет.

А Роман Якобсон, под эгидой которого должна была проходить конференция и который на пути в Варшаву остановился в Праге, выглянув утром в окно, увидел на площади перед гостиницей танки и испытал невероятное, но вполне реальное *déjà vu*. За тридцать лет до этого в той же Праге его уже заставляли танки — немецкие. Он позвонил своей жене, Кристине Поморской, приехавшей в Варшаву — на родину — заранее, и сказал, что немедленно улетает в Париж и будет ждать ее там...

Шок от вторжения был так велик, что западные семиотики (Эко, Кристева, Метц и другие), в большинстве своем люди левых взглядов, обходили его молчанием, предпочитая такие спокойные темы, как американская интервенция во Вьетнаме. Однажды за обедом (в гостинице «Европейская»!) я не выдержал и спросил:

— Но почему вы во всем вините американцев?..

Ответом было принужденное молчание, как будто я издал неприличный звук.

Впрочем, так же держались двадцать с лишним лет спустя либеральные интеллигенты-американцы, мои коллеги по Национальному центру гуманитарных исследований в Северной Каролине, считавшие вооруженный отпор Саддаму Хусейну проявлением милитаризма. На мое предложение продемонстрировать

за мир не в Нью-Йорке, а в Кувейте и Багдаде, они отвечали молчанием. А на другой же день после молниеносной операции «Самум» (не так ли надо переводить «Desert Storm»?) вообще оставили эту тему.

Лингвистические задачи и тайны творчества

В пору структурных бури и натиска среди прочего были модны лингвистические задачи. Я ими не увлекался. Выдающимся мастером, если не основоположником жанра, был А. А. Зализняк (ныне академик), первым опубликовавший целую статью на эту тему, а затем занимавшийся составлением задач для математико-лингвистических олимпиад. Еще одна его уникальная статья — о семиотике правил уличного движения — обязана была своим происхождением тому, что Андрей одним из первых в нашем поколении сделался водителем транспортного средства, сначала мотороллера, а затем и автомобиля. На пересечении этих двух его интересов и выросла знаменитая непристойная задачка, на моих глазах сотворенная им, как Афродита, из пены житейского эпизода.

Я был у него и Е. В. Падучевой в гостях с одной коллегой, и в какой-то момент он стал рассказывать, как он после занятий выезжал с территории университета. (Дело происходило году в 1970-м; филфак уже располагался на Ленинских горах.) Неловко разворачиваясь, Андрей на своем маленьком «москвиче» чуть не угодил под колеса огромного самосвала, шофер которого высунулся из кабины и заорал... Тут Андрей наигранно осекся и продолжал уже на сдавленном смехе своим характерным фальцетом, приберегаемым для подобных артистических эффектов:

— При дамах я не могу буквально повторить то, что он сказал. Поэтому я переведу его реплику на семантический язык или лучше на куртуазный язык «Тысячи и одной ночи»: «О неосторожный незнакомец! Пожалуй, следовало бы наказать тебя ударом по лицу».

Упоминание о семантическом языке было реверансом в мою сторону — мы с Мельчуком в то время усиленно занимались расщеплением смыслов.

— При этом, — продолжал Андрей, — все богатство значений, заданных элементами «неосторожный», «незнакомец», «наказать», «удар» и «лицо», было передано с помощью ровно трех полнозначных слов, образованных от одного и того же корня. Задача имеет одно решение, — торжественно закончил он.

Дамы, естественно, ничего не поняли, а я, к своей чести, нашел ответ довольно быстро. Единственность решения и, значит, разгадка (которая здесь приведена не будет) определяются бедностью матерной синонимии в обозначениях «лица», тогда как в передаче остальных ключевых семем веер возможностей гораздо шире.

Свои неплохие показатели в этом случае я объясняю тем, что задача была поставлена, так сказать, в условиях, приближенных к реальным. Она не носила формально-экзаменационного характера, а была, выражаясь по-зощенковски, взята с источника жизни, и ее решение имело практический смысл — узнать, в присутствии, но помимо дам, что же именно сказал носитель народной мудрости (прибегший к корню нашего главного, скажем так, экзистенциального глагола.)

Жизненными соками питалось и мое единственное выступление на ниве дешифровки. Это было, если не ошибаюсь, летом 1969 года. Я приехал погостить к своему отчиму, известному музыковеду Л. А. Мазелю, в Дом творчества композиторов под Ивановом и нашел там блестящую музыкальную компанию.

Гвоздем сезона были знаменитый скрипач с женой и приятелем-пианистом: И. Б. — полноватый, солидный, в привезенном из заграничных гастролей пробковом шлеме; его жена С. Л. — миниатюрная, но надменная красавица; и С. Д. — здоровый циник-весельчак с крепкими руками фортепианного чемпиона. Между чаем и ужином, во время, так сказать, фэйф-о-клока, обычно заполняемое прогулками и сплетнями, они устраивали перед столовой сеансы угадывания мыслей на расстоянии. То есть не угадывания, а, как они подчеркивали, передачи — вполне реальной передачи, основанной на глубокой личной и твор-

ческой близости душ. Происходило это так. Кто-нибудь из публики сообщал на ухо одному из троицы, например И. Б., имя задуманного им великого человека. Тот принимал сосредоточенный медиумический вид, с руками у висков, и, бросая завораживающие взгляды в направлении стоявшего шагах в десяти партнера, например С. Л., заклинал:

— Он тебе известен! Он тебе известен! Его ты знаешь! И говори кто!..

— Чайковский, — мгновенно перебивала его С. под восхищенные возгласы толпы.

Загадывалось следующее имя.

— Лови мою мысль! Будь внимательна! Но ты его знаешь! Он тебе известен!..

— Бетховен!..

И так далее, с теми же однообразными словесными пассажами и той же молниеносностью ответов.

Для меня, сына самого Мазеля, да еще и представителя кибернетической лингвистики, срывающей последние покровы с тайн мышления и речи, это был вызов, которого нельзя было не принять.

— Очень интересно, — бросил я перчатку, — посмотрим, как вы это кодируете.

— Да что вы! Мы ничего не кодируем. Мы просто задаемся образом великого человека, и этот образ передается благодаря общности наших психических процессов. Это как музыка, как стихи. Мы настраиваемся на единую творческую волну. Кстати, не случайно, что лучше всего передаются образы великих художников, вызывающие богатые эстетические ассоциации.

— Но вы все-таки позволите мне записывать произносимые вами фразы?

— Записывайте сколько угодно. Вы убедитесь, что они ни при чем. Передаются не имена, а образы. Заметьте, что фразы всегда одни и те же, и они вовсе не шифруют искомым букв.

Действительно, Чайковский получался безо всяких «ч» и «й», а Бетховен — хотя и с «б», но лишь во второй фразе, и уж явно без «х». Что касается фраз, то они повторялись с небольшими вариациями, лишь иногда удивляя неестественными логическими

эмфазами вроде «Его ты знаешь!», «Но ты его знаешь!» или «И говори кто!», что, впрочем, мотивировалось «гипнотическим» тоном речи.

Публично объявив, что трех дней мне с лихвой хватит для разоблачения черной магии, я приступил к тщательному протоколированию опытов. Членов виртуозного трио это только забавляло, и я заметил, что иногда они с издевательскими улыбками продлевали передачу, вкрапляя в нее какие-то им одним понятные хохмы.

— Его ты знаешь! И будь внимательна! А он тебе известен! И лови мою мысль! Шевели мозгами! А он тебе известен! Подумай хорошенько! И его ты знаешь! Назови его!..

— Жорж Санд!

Публике явно предлагалось оценить добросовестность медиума, описавшего Жорж Санд в мужском роде, демонстративно отказавшись от дешевых подсказок. В то же время сексуальные коннотации ее облика каким-то образом витали в воздухе, подогреваемые двусмысленными улыбками медиумов. Впрочем, мое исследовательское внимание было больше задето стилистически торчавшим оборотом «шевели мозгами». Но какое отношение он мог иметь к Жорж Санд, оставалось загадкой.

Состязание продолжалось уже два дня, корпус данных рос, а решение все не приходило. Следует сказать, что деятельность расшифровщика, включая легендарного Шамполиона, лишь в малой степени строится на «точных методах». Ее настоящим двигателем является честолюбивая уверенность ученого в своей миссии, поддерживающая его кропотливые, долгие, но бесплодные усилия до тех пор, пока счастливая случайность вдруг не свалится ему прямо в руки. Тут-то и бьет час интуиции.

Рано или поздно случайность должна была произойти, тем более что зарвавшиеся медиумы вели себя все неосмотрительнее. И она произошла.

— Он тебе известен! И ты его знаешь! Цепляйся за мою мысль! Ты его знаешь!..

— Тургенев!

Нескладное «цепляйся» до тех пор ни разу не появилось в моих протоколах и этим напоминало аналогичное «шевели».

Зачем, вместо привычных «Думай..!», «Подумай..!», «Говори..!» или, на худой конец, «Лови..!», нужны эти «Шевели..!» и «Цепляйся...!» Простейшая догадка состояла в том, что понадобились они — вопреки заверениям медиумов — ради редких начальных букв: «ш» и «ц». Но в таком случае вопрос принимал вполне конкретный вид: что делает буква «ш» в Жорж Санд и буква «ц» в Тургеневе?

На первый взгляд ничего. Разумеется, второе «ж» в имени Жорж оглушается, но вряд ли дело в этом. А уж к Ивану Сергеевичу Тургеневу «ц» не имеет никакого отношения. А впрочем, так-таки ли никакого? Где у Тургенева «ц»?! Известно где — в заглавии его главного романа: «Отцы и дети»!

За это действительно можно было уцепиться. Обратившись к тургеневскому протоколу, мы легко находим «о» в начале первой фразы («Он тебе известен!»). Но вторая и четвертая не начинаются с «т» и «ы»! Правильно, не начинаются, но продолжают именно ими — в качестве вторых букв! Иными словами, в нечетных фразах считается первая буква, а в четных — вторая. Перед нами действительно своего рода «стихи», и они действительно передают не имена творцов, а созданные ими «образы». Но все-таки — по буквам.

Он тебе известен!
И ты его знаешь!
Цепляйся за мою мысль!
Ты его знаешь!..

Я тотчас кинулся к собранному материалу и убедился, что несложное правило работало во всех случаях. «Онег...» легко давал (в музыкальных кругах) Чайковского, «Лунн...» — Бетховена и т. д. Интригующий вопрос о связи «ш» с Жорж Санд читатель уже в состоянии разрешить сам (а заодно оценить переключку этой шарady с загаданной Зализняком).

На другое утро — в последний день взятого мной срока — я предупредил папу, что за завтраком произойдет небольшой сюрприз. Наш стол был на веранде, и путь к нему лежал через главный зал, где сидели И. Б. и С. Л. Проходя мимо них, я громко проскандировал:

— Кто он? Думай хорошенько! Кто он? Думай хорошенько!

Они приняли это за беззубую имитацию их фразеологии и отвечали насмешливыми вопросами, когда же кибернетика скажет свое слово. Сдерживая внутреннее торжество, я смолчал, и под эти смешки мы проследовали на веранду. Но не прошло и минуты, как сработало то, что в американском кино называется *double take*, — мое «ку-ку!» дошло. Они прибежали с озабоченными лицами и склонились надо мной, умоляя не выдавать их. Я великодушно согласился и в дальнейшем иногда выступал вместе с ними. Публике было объявлено, что кибернетика проникла-таки в тайны творчества.

Она его любит

Чтобы дать представление о концептуальной пропасти между традиционным советским литературоведением и новаторским тогда структурализмом, стоит кратко описать историю публикации в Серии литературы и языка «Известий АН СССР» моего разбора «Я вас любил...» (1977). Доброжелатели, причастные к редакции журнала, устроили мне встречу с его главным редактором и главным официальным пушкиноведом академиком Д. Д. Благим. Перспективы переговоров с ним, несмотря на мрачные аспекты этой фигуры, представлялись мне не совсем безнадежными, главным образом ввиду уважения, которое я питал к его ранней, социологической, книге о Пушкине (1931), хотя у моих коллег-семиотиков оно вызывало снисходительную усмешку.

Аудиенция состоялась летним вечером у Благого на даче. Он уже ознакомился с моей рукописью, но ее обсуждение вылилось в разговор глухих. Там, где я акцентировал амбивалентности, инварианты и структурные изоморфизмы с другими пушкинскими текстами (например, 8-й главой «Онегина», «Каменным гостем» и т. п. — в духе новооткрытой тогда работы Якобсона о мотиве статуи в творчестве Пушкина), Благой держался сугубо житейских категорий.

— Ну да, конечно, ведь она же [Татьяна] его любит, — с чувством повторял он.

Дело с публикацией статьи застопорилось и снова пришло в движение лишь после смерти Благого и перехода «Известий СЛЯ» в руки партийного, но либерального и порядочного Г. В. Степанова. При активном содействии завредакцией В. И. Левина, Степанов стал «пробивать» мою статью на редколлегии. К моему удивлению, процесс оказался трудным, многоступенчатым; но в конце концов он увенчался успехом. Подчеркну, что ничего идеологически спорного или хотя бы эзоповского в статье нет. Сопrotивление вызывал именно непривычный структурный дискурс, чуждый традиционалистам, наверное, не менее, чем многим структуралистам — дискурс деконструкции.

В структурном же лагере, напротив, царила убежденность в полной и окончательной разрешимости всех задач литературоведения «точными» методами. Помню, как (году, вероятно, 1968-м или 1969-м) Б. А. Успенский сообщил мне, что только что отдал в печать свою «Поэтику композиции» (1970) и больше заниматься поэтикой не намерен, ибо все основное теперь уже сделано. Незабываема также фраза, которой В. К. Финн, классик советской информатики, со скромно-торжествующей улыбкой закончил один из своих докладов, блиставших виртуозным применением математической логики:

— ...И тогда поэтика, подобно квантовой механике, замкнется как сугубо формальная теоретическая дисциплина.

Лисица (Ворона и)

Когда это в точности было, не помню. Может быть, до 1967 года, пока папа еще работал в Московской консерватории, но, скорее, после, где-то в 1970-е, когда он был уже на пенсии, однако сохранял на кафедре определенное влияние. Он продолжал писать, печататься, рецензировать книги и давать отзывы на диссертации. Соответственно, вокруг него продолжали группироваться бывшие ученики и коллеги, в том числе и такие, кого

приводил к нему сугубо карьерный интерес, разумеется маскируемый под научный.

К последней категории я отношу (ныне покойного) музыковед Н., который с какого-то момента стал регулярно появляться у папы и самым стандартным образом втираться к нему в доверие. Он был высокий, худой, с желтоватым лицом, большими ушами, круглыми бесцветными глазами и вкрадчивыми манерами. Водевильно звучала даже его фамилия, от называния которой я воздержусь, хотя как она сама, так и напрашивающиеся в связи с ней фиоритуры расцветили бы текст.

Не ограничиваясь хрестоматийным подобострастием в отношениях с папой, он, видимо, решил, что угождения — в качестве то ли дворника, то ли собаки дворника — заслуживаю и я. В один прекрасный день я услышал от папы, что у Н. есть ко мне деловое предложение.

Предложение оказалось заманчивым. Н. сообщил мне, что консерваторские студенты выразили желание ознакомиться с моими идеями в области поэтики и он рад пойти им навстречу — пригласить меня с лекцией. Наверное, папа упомянул о моих (и Щеглова) работах по поэтике выразительности, во многом опиравшихся на его собственные, чем и подсказал Н. этот беспроегрышный ход.

Беспроегрышность его основывалась на том, что наши теории были мало кем востребованы, и мое авторское самолюбие страдало. Приглашение прочесть лекцию, пусть навеянное папиным авторитетом, не могло не оказать на меня своего щеко-чущего действия, так что я не стал задумываться о механизмах возникновения у широких масс студентов столь единодушного порыва. *И верно ангельский быть должен голосок...*

Я принялся обсуждать с Н. возможную тему лекции и, разтроганный вниманием к своим занятиям, слово за слово, предложил прочесть даже не одну, а, может быть, две лекции, а то и целый небольшой курс.

— Студенты консерватории выразили желание ознакомиться с вашей теорией в объеме одной лекции, — был ответ.

Повторное исполнение арии, в котором трепет коллективного «желания» заглушался, однако, «объемом одной лекции»,

не оставляло сомнений, что интерес ко мне с самого начала исходил не от мифических студентов, а исключительно от самого Н. с его нехитрыми расчетами.

Лекцию я прочел, после чего с Н. больше не встретался, тем более что он вскоре исчез с папиного горизонта, по-видимому получив то, на что рассчитывал, и именно в том объеме, на который рассчитывал. На что он вряд ли рассчитывал, так это что для полевых исследований по поэтике даже самые скромные образцы его речевых навыков представляют ценность и будут преданы векам в полной сохранности.

Р. С. Ценность, конечно, относительная. Мало того что персонаж — грибоедовский, сюжет — крыловский (а если совсем честно, эзоповский), так при ближайшем рассмотрении оказывается, что и кульминационная фраза, в сущности, зощенковская, — ср.: «Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу». И фраза, да и вся динамика. Против архетипов не попрешь. Скучно на этом свете, господа!

Мимесис

В фильме Висконти «Смерть в Венеции», увиденном почти полвека назад, меня восхитила игра исполнителя главной роли Дирка Богарда (Dirk Bogarde). Особенно сильное впечатление произвел эпизод, где герой, с неохотой решив уехать, отправляется на вокзал, но в последний момент слуга докладывает ему о какой-то транспортной неувязке, и он с тайной радостью остается. В этом месте Богард соорудил мину, которую я тотчас осмыслил как «выражение лица школьника, узнавшего, что учитель заболел и урока не будет».

Придя домой, я открыл Томаса Манна (том 7-й советского десятилетия, 1960; пер. Н. Манн) и, как я потом неоднократно рассказывал студентам, прочел у него слово в слово фразу, внушенную мне с экрана! Это был поразительный семиотический эксперимент, поставленный самой жизнью. Получалось, что язык актерской — а значит, и вообще человеческой — ми-

мики настолько развит, что способен без потерь транслировать на редкость определенную информацию. Разумеется, какая-то часть кодировки приходится на контекст: мы понимаем настроение героя, его нежелание уезжать и подспудные поиски предложения остаться, так что актеру достаточно сыграть, скажем, «облегчение» и «детскость», а воображение зрителя дорисует остальное. И все-таки каким образом передаются «учитель», «школьник», «урок»?

Готовясь записать эту виньетку, я на всякий случай снова заглянул в текст — сначала в то же русское издание, а затем в английский перевод и в немецкий оригинал. Оказалось, что память мне изменила, услужливо подретушировав факты. В русском переводе говорится всего лишь, что Ашенбах «прятал под личной досадливых сожалений боязливое и радостное возбуждение *сбежавшего мальчугана*» — в точном соответствии с оригиналом («...*Erregung eines entlaufenen Knaben*»). Впрочем, в следующем предложении оригинала мотивы «детства» и «побега домой» дополнительно акцентированы выбором идиом, которыми описывается удача, выпадающая герою под видом неудачи: Томас Манн употребляет слова *Sonntagskind*, «счастливичик», букв. «воскресный ребенок», и *heimsuchen*, «постигать», букв. «находить дома». Но еще интереснее, что в английском переводе появляется и «школьно-прогульный» элемент: «...concealing under the mask of resigned annoyance the anxiously exuberant excitement of a *truant schoolboy*»!

Что же касается «заболевшего учителя», то его, видимо, целиком вчитал я сам, хотя и не без подсказки. Состоит она в том, что самостоятельно «сбежавшему мальчугану» ни к чему «лична досадливых сожалений». В сюжете повести момент притворного огорчения мотивирован той «счастливой неудачей», той транспортной *force majeure*, которая извне подает Ашенбаху уважительный повод не покидать Венеции. Но в метафорическом микросюжете со «сбежавшим мальчиком/школьником» никакой мнимой неприятности нет. На ее роль и напрашивается вчитанная мной болезнь учителя.

Напрашивается уже в томас-манновском тексте. На его основании не исключено, что напрямую прописывается в сценарии

(это, в принципе, можно проверить). Затем сознательно или бессознательно разыгрывается Богардом. И наконец, прочитывается зрителем.

Ключ

Мне было почти тридцать все еще очень инфантильных лет, когда я пережил это легкое увлечение, а вслед за ним тяжелую, но и смешную операцию. Сюжет можно было бы à la Бунин дожать до полной любви и смерти, но буду держаться фактов.

На международный симпозиум в Ереване я летел вместе с Феликсом Дрейзиным, и весь полет он рассказывал о студентке, которой с ходу предложил за одну неделю пройти заграничный учебник секса; недели хватило, потом пошло повторение пройденного. Мои восторги притуплялись здоровым филологическим недоверием к охотничьим рассказам и болезненной реакцией на высоту полета.

В российском сознании донжуанский список ассоциируется с Пушкиным, у которого он, даже с поправкой на краткость отчетного периода, скорее невелик. Особенно по сравнению с первоисточником — арией Лепорелло «Il catalogo è questo...». Там цифра действительно впечатляющая, четырехзначная (в одной только Испании — 1003), что на порядок выше, чем, скажем, у Казановы, в мемуарах которого переводчик, мой знакомый, насчитал всего 122 партнерши. Разделив это число на 39-летний стаж, он оценил полученный среднегодовой коэффициент как далеко не рекордный.

Мои показатели еще скромнее, раза в полтора. Тут и позднее развитие, и серийная моногамность, и уступки платонизму. Наверно, отсюда мое недовольство самим форматом каталога, учитывающего всякую одноразовую всячину и игнорирующего памятные, но беспостельные романы. Нужна более гибкая система признаков.

В Ереване нас ждал научный бомонд. Гренобльский профессор Бернар Вокуа, похожий на Фернанделя, приехал со своей сотрудницей мадам Торр. Ухоженная, но несколько изможденная

диетой француженка со следами былой красоты приковала внимание истосковавшихся по Западу российских интеллектуалов. Мужчины многозначительно повторяли описание ее должности — «работает *под* Вокуа», дам волновало, какое из бесперебойно сменяемых платьев идет ей больше других, и все вместе смаковали известие, что ночью ее видели выходящей из номера американца Пола Гарвина (острили, что тот ее «эвокуировал»). Другой знатный американец, Дэйвид Хейз, декламировал свой лимерик о Мельчуге:

That vigorous linguist named Igor
Complained that the pickings were meager:
«I have had every girl
In the communist worl’,
But farther they would not let me go!»¹

Мое внимание занимала миниатюрная, похожая на веселую птичку сотрудница ереванского вычислительного центра, назову ее Эля. У нее были большие темные глаза, изогнутые ресницы, вздернутый носик и широкая, четко вырезанная челюсть, на которой как бы преподносилось ее лицо с манящим маленьким пухлым малиновым ртом; из-под приоткрытой верхней губы сверкали два белых зуба. Шея была тонкая, плечи же широкие и слегка приподнятые, тело полноватое, а ноги на высоких каблуках опять худые. Все это производило впечатление открытости и устремленности вверх, тем более что со мной ей приходилось тянуться и задирать голову.

По-видимому, мы познакомились в какой-то прошлый раз и молча наметили себе друг друга, потому что сразу повели себя как наконец дождавшиеся встречи. Предупреждая вопросы, она сказала, что уже объявила мужу, что на время конференции приставлена ко мне, московской знаменитости. Мы действительно почти не разлучались, ходили парой, признаки взаимной влюбленности были налицо, но никаких действий я не предпринимал.

¹ Могучий лингвист по имени Игорь / Жаловался, что выбор скуден: / «Я поимел всех баб / В коммунистическом мире, / А дальше меня не пустили!»

Мы все время были на людях — в зале заседаний, в столовой, в винодельческом совхозе, куда нас повезли на дегустацию и шашлык, на озере Севан. Публичным местом была и гостиница, где поселили приезжих, и последовать примеру мадам Торр Эля, которой в этом городе предстояло жить, не могла. Но для моего бездействия это были скорее предлоги, чем причины. Затянувшуюся неуверенность в себе (героически, но очень постепенно мной изживаемую) усугубляло странное недомогание — слабость в сердце, тяжесть в ногах, ком в горле, — начавшееся еще в самолете и, возможно, связанное с непривычной высотой над уровнем моря: в Ереване это почти километр, а на Севане и все два.

Кстати, купаться в Севане было еще рано, но не показать нам главную жемчужину Армении хозяева не могли. На заплыв решились лишь несколько русских смельчаков, среди них Феликс. Иностранцы кутались в плащи и по-туристски наблюдали туземный аттракцион. Место было пустынное, переодевались тут же, за парой растянутых полотенец. Прыгая на одной ноге, чтобы другой попасть в плавки, Феликс произнес: «Ребята, впервые в жизни раздеваюсь так близко от француженки!» — и под одобрительные смешки побежал к воде. Я чувствовал себя не в форме и в воду не полез, продолжая как ни в чем не бывало любезничать с Элей.

На посторонний взгляд, у нас был роман, и ее репутация все равно страдала. Когда моя коллега П. очередной раз заговорила о туалетах мадам Торр, а я парировал, что той больше всего пошла бы паранджа, она тут же перешла на Элю, которая так юна, прелестна и влюблена, а я — жестокий — не иду ее провожать! Я сказал, что хотел бы жить той красивой жизнью, которую она мне приписывает, но юную Элю, увы, ждет ревнивый муж. О состоянии своего здоровья я распространяться не стал, но про себя еще раз задумался, что же происходит, вернее, не происходит.

Следующий день был последний, и после ужина я немного проводил Элю и ее подружек. Светила луна. Дорога шла в гору, я почувствовал одышку, мы остановились, стали прощаться, и Эля, молча глядя мне в глаза, несколько раз провела рукой по своим полуоткрытым губам, опять блеснули ее зубы, но не только

они, — я всмотрелся и увидел, что между пальцев, ныряя, как месяц среди облаков, несколько раз проплыл ключ от английского замка. Я не подал виду, мы еще некоторое время смотрели друг на друга, потом вежливо попрощались, и больше я ее никогда не видел.

В самолете у меня сильно болело сердце, и, приехав в Москву, я бросился к врачам. Оказалось, что сердце переутомлено хроническим тонзиллитом — необходимо удалить гланды. Папа по знакомству устроил меня в больницу к самой Фельдман. Для детей это простая, чуть ли не амбулаторная операция, для взрослых же мучительная: заживление тянется долго, все это время надо лежать без движения, питаться минеральной водой, соками и подтаявшим мороженым, охлаждая горло и щадя кишечник и сфинктер. Во взрослой палате было еще несколько привилегированных пациентов, в том числе молодой, но уже известный пианист, говоривший с гомосексуальной интонацией избалованного ребенка. На мой вопрос, не злоупотребляет ли он слабительными таблетками — ведь пища и так жидкая, он пропел: «А я ни ха-ачу туу-жицца!»

...Все на свете кончается, и через две недели я встал на ноги, надеясь, что вместе с гландами в прошлое уйдут последние остатки детства. Элин фокус с ключом иногда подкатывает у меня к горлу не менее остро, чем вкус замороженных с кровью миндалин. Кто знает, может быть, и Феликсу мадам Торр запомнилась лучше его секс-практикантки, но какое это имеет значение, если его самого давно нет на свете?

Ленин и...

Одним из вождей советского структурализма был С. К. Шаумян. С голым черепом неправильной формы, напоминавшим картины Олега Целкова, с лихими усами, маленькими глазками и форсированной, вырывающейся наружу как бы под большим давлением, речью, он являл колоритную фигуру. Будучи не просто членом партии, а племянником одного из двадцати

шести бакинских комиссаров и потому имея ход наверх, он пробил создание в Институте русского языка АН СССР сектора структурной лингвистики, который и возглавил. Научная его репутация зиждилась на собственном варианте хомскианской порождающей грамматики — аппликативной модели со спаренными генераторами (спаренными гениталиями, острил Мельчук). Он излагал ее, один и совместно со своей последовательницей П. А. Соболевой, в докладах, статьях и книгах, руководил диссертациями и, казалось, достиг всех мыслимых успехов. Правда, коллеги, как справа, из традиционного лагеря, так и слева, из структурного, посмеивались. Возможно, именно это толкнуло его на очередной смелый шаг.

Тысяча девятьсот семидесятый год, ленинский юбилейный, прошел с невероятной помпой, не ослабевшей и по его истечении. Шаумян решил разработать золотую жилу. Сотрудники академии включают свои будущие исследования в тематические планы институтов, и он запланировал монографию «Ленин и язык». Проведав об этом, структурная вольница стала, естественно, хмыкать и зубоскалить, к чему Шаумян был, скорее всего, готов; но роковой удар подстерегал его с другой стороны.

Заявку не утвердили. Оказалось, что к сочинению книг на тему «Ленин и...» допускаются исключительно лица, входящие в некий список, в котором Шаумян пока что не значился.

Развязка последовала неожиданная, но, как полагается в крепком сюжете, хорошо подготовленная. Разочаровавшись в ленинских нормах партийной жизни, Шаумян подал документы на как раз подоспевшую эмиграцию в Израиль и вскоре получил профессорскую ставку (злые языки говорили, что спонсированную богатыми армянами) в Йельском университете.

Я встречал его как там, так и на конференциях по славистике. Однажды он даже выступил в прениях по моему литературоведческому докладу, что дало ему повод несколько раз повторить, отчаянно артикулируя и жестикулируя, что «Чомскиз сиори», теория Хомского, «из рронг», неправильна, а наша, «ауар сиори», то есть, надо понимать, советская, шаумяновско-жолковско-мельчуковская, «из ррайт», правильна.

Неполный контроль

На всемирном форуме о мировом значении русской литературы в Москве в декабре 2004 года, среди прочих выступала моя когдатощня сокурсница Т. За истекшие столетия она мало изменилась. Она была все такая же худая и высокая, держалась так же прямо и говорила так же, как тогда, — тихо, обстоятельно и безапелляционно. Первокурсницей она точно знала, что будет заниматься театром Чехова, и теперь, прозанимавшись им всю жизнь и став первым театрочеведом страны, а может быть, и планеты, она тем же, но уже вполне заслуженно учительским голосом описывала повсеместную востребованность чеховских постановок, сведения о которых стекались к ней с пяти континентов. Слушая ее, я представил себе карту мира, покрытую флажками и прямыми линиями с точкой пересечения в Москве, висящую на стене ее чеховского кабинета номер один.

Предавшись этим размышлениям, я отвлекся, но был вскоре возвращен назад переменной в интонации докладчицы. К ее невозмутимо-эпическому тону примешалась какая-то беспокойная нота. Впрочем, и она звучала в мажоре, освеженном этими неожиданными модуляциями:

— И вы знаете, доходит до того, что где-то в Новой Зеландии ставят «Чайку», совершенно не консультируясь с нами, и мы только потом стороной узнаем, а они сами нам даже не сообщают.

С Лотманом на дружеской ноге

В 1964 году состоялась первая Летняя школа по вторичным моделирующим системам в Тарту. Я был на нее приглашен, хотя не помню, сколь формально. Хорошо помню, как случайно встреченный на станции метро «Охотный ряд» (тогда «Проспект Маркса») В. А. Успенский сказал мне, что «сделал все, чтобы мы с вами летом встретились в Тарту». Тем не менее я по тем или иным причинам туда не поехал. Скорее всего, просто по-

тому, что не придал этой возможности того эпохального значения, которое задним числом кажется столь очевидным. Это была серьезная ошибка — одна из многих подобных в моей жизни. По-видимому, сыграла свою роль врожденная, усугубленная советскими условиями и сознательно культивировавшаяся мной нелюбовь к модным causes, неумение и нежелание, в отличие от зоценковского тенора, «сыматься в центре». В первый раз я не поехал сам, а в дальнейшем (до 1974 года) меня и не звали. (Раскол внутри семиотического истеблишмента — особая тема.)

В 1970 году в семиотической серии издательства «Искусство» вышла книга Лотмана «Структура художественного текста». Под впечатлением очевидной близости научных установок и в общем духе оппозиционерского единства я стал искать путей к преодолению трений. Возможность представилась (и была упущена) в ходе состоявшегося в том же году в Тбилиси Симпозиума по кибернетике, включавшего внушительную секцию лингвистики и семиотики. Там мы со Щегловым впервые увидели Лотмана. О напряженности нашего отношения к нему говорит следующая запись, сделанная мной по горячим следам.

...Личного знакомства не произошло и в этот раз, но зато мы слушали его доклад (совместный с Б. А. Успенским, но говорил Лотман) — что-то о семиотике культуры, в том смысле, что культура конституируется ее противопоставленностью не-культуре. Лотман, хотя и заикается, блестящий лектор. Его слушали с большим интересом. Поскольку, однако, на Симпозиуме строго соблюдался регламент (кажется, 20 минут доклад), в какой-то момент поднялся председательствующий, В. Ю. Розенцвейг, и сказал:

— Юрий Михайлович, у вас осталась одна минута.

— В т-таком случае, я могу не п-продолжать.

— Ну зачем же. Сколько вам нужно времени, чтобы кончить?

— Д-десять минут.

— Как, товарищи, дадим докладчику еще 10 минут?

Из зала донеслись голоса:

— Дадим!.. Дать 5 минут!.. Хватит — регламент!.. Дать 10 минут!..

Прямо над моим ухом кто-то заорал:

— Дать ему, сколько он хочет! Пусть говорит сколько хочет!
Я повернулся и увидел, что кричит Юра Щеглов.

— Позволь, — зашептал я, — почему это « пусть говорит сколько хочет »?

Возвращенный моим вопросом на землю, Юра озадаченно повторил его:

— Почему « пусть говорит сколько хочет »? Не знаю. Это интересный вопрос. Надо подумать.

Лотману тем временем было предоставлено 10 минут, и доклад продолжался. Через некоторое время Юра нагнулся ко мне и, сияя улыбкой ученого, готового поделиться сделанным открытием, сказал:

— Почему « пусть говорит сколько хочет »? Прекрасно. Могу сказать. Пусть говорит сколько хочет, потому, что то, что он говорит, — не страшно.

Следующий контакт с Лотманом состоялся во время поездки (году в 1971-м) группы семиотиков во главе с ним в киноархив Госфильмофонда в Белых Столбах. Путь на электричке, а потом и пешком — неблизкий, и времени для общения было более чем достаточно. Из разговоров Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского и Б. Ф. Егорова между собой запомнились многочисленные упоминания об актуальной тогда официозной фигуре А. С. Бушмина (академика, директора Пушкинского Дома) и фраза Егорова, делившегося ближайшими планами работы своего Ученого совета:

— Значит, так. У нас, эт-самое, идут две диссертации. Ну, значит, так. Одну мы, эт-самое, режем...

Тем не менее, вновь испытал обаяние личности Лотмана, я заговорил с ним о его книге, на которую мы со Щегловым собирались написать рецензию в « Вопросы литературы » (она появилась в 1972 году). Лотман подчеркнул, что такая публикация желательна только в том случае, если рецензия будет сугубо положительной. На занимавший меня вопрос о допустимости критики внутри семиотического сообщества он ответил рассуждением, что молодые неокрепшие структуры нуждаются в защитной оболочке и потому преждевременная свобода критики может оказаться вредной. В то же время он предложил нам подать статью в оче-

редной том тартуских «Трудов по знаковым системам» и в дальнейшем опубликовал ее (1975). В целом у меня сложилось впечатление, что он, как и я, был бы рад разумному компромиссу.

Впервые проведя тогда в обществе Лотмана целый день, я имел возможность побеседовать с ним на самые разные темы. Запомнилось его подчеркнуто отрицательное отношение к новейшей культуре и явное предпочтение ей культуры XIX века. Возможно, так он тактично давал понять, в чем он видит причины наших с ним расхождений. Как при этой, так и при нескольких последующих частных встречах с Лотманом чувствовалось, что, несмотря на примирение, дистанция оставалась непреодоленной. Насколько я понимаю, Лотман переваривал меня с трудом.

Тем не менее вскоре он пригласил меня в Тарту на очередной, Пятый, или, по новому счету, Первый Всесоюзный симпозиум по вторичным моделирующим системам (февраль 1974 года). Ю. М. Лотман и З. Г. Минц были подчеркнуто гостеприимны и даже предложили мне прочесть в одном из их курсов двухчасовую лекцию на любую тему по моему желанию. Студентов пришло много, в аудитории присутствовали сами Лотман, Минц и некоторые другие коллеги. Темой я избрал поэтический мир Пастернака, которым тогда много занимался, и подробно остановился на соотношении моего похода с подходом Лотмана. В перерыве ко мне подошла Минц с встревоженным лицом и словами:

— Только что в Москве арестован Солженицын. Возможно, вы захотите учесть это во второй части лекции.

Однако ничего крамольного — кроме самого факта разговора об опальной памяти поэте — в моей лекции не было.

Отношения с Лотманом и Тарту продолжали налаживаться, и в какой-то момент даже обсуждалась возможность защиты мной докторской диссертации под эгидой Лотмана. А когда я собрался в эмиграцию, он дал мне рекомендательное письмо, которого, впрочем, как и каких-либо иных документов из России, нигде предъявлять не потребовалось. Что потребовалось, так это, как я ни брыкался, выступать в качестве представителя московско-тартуской семиотической школы — со столь неотвратимой регулярностью, что я постепенно себя им почувствовал.

О нелюбви

Однажды в молодости я пожаловался приятелю, что такой-то меня не любит. То ли меня, то ли мои сочинения. Приятель спросил: «А он тебе нравится?» — «Нет». — «Так как же ты хочешь нравиться тому, кто не нравится тебе?»

Он был, конечно, прав, и я этот урок запомнил. Урок тем более полезный, что нелюбви в мире гораздо больше, чем любви. Как писал поэт: *И этот мне противен. И мне противен тот. И я противен многим. Однако всяк живет.*

Но одно дело, когда тебя не любят в порядке взаимности, и совсем другое — когда нелюбовью отвечают на твою любовь. Это урок гораздо более отрезвляющий, и его мне преподнес тот же приятель.

Я всю жизнь любил его, а он меня нет, во всяком случае не всю жизнь. Я все делал, чтобы заслужить его любовь, но успех имел далеко не пропорциональный своим усилиям.

Тогда я тоже разлюбил его, выражаясь по-хемингуэевски, сначала постепенно, а потом сразу. Так сказать, выучил и этот его урок. Но удивляться: как же так, я его любил, а он меня нет — не переставал.

Но в конце концов я разобрался и с этим, почти самостоятельно.

Как уже говорилось, нелюбви в мире больше, чем любви. Противен мне и этот, противен мне и тот... В частности, мне очень неприятен один старый коллега, и я даже позволил себе выразить это в печати. Ну, не буквально это, но все-таки взял и публично лягнул его.

Он обиделся и дал мне это понять. И некоторые общие знакомые стали говорить мне, что я поступил нехорошо. И я задумался о своем поступке и его мотивах.

Ну, мой выпад был, может, и несправедлив, но остроумен, да и претендовал не столько на правду, сколько вот именно на словесный блеск. Так что я не сдавался.

Но, вслушиваясь в возражения друзей и раздумывая о своем отношении к этому коллеге, я должен был признать, что он ни

в чем передо мной не виноват, моих нападок ничем не заслужил и вообще всегда хорошо ко мне относился и делал мне только хорошее. И другим тоже. И вообще был кристальным, ну, может быть, немного чересчур кристальным, человеком. Тем не менее он никогда мне не нравился, и чем дальше, тем больше.

И тут меня осенило, что я наконец разгадал загадку, над которой так долго ломал голову. Я не любил его так же, как меня не любил мой многолетний приятель, — беспричинно, несправедливо, неблагодарно и совершенно искренно. Так искренно, так нежно, как нелюбимым был другим.

Время и мы

У меня есть старый снимок — я в колхозе, год, должно быть, 1955-й, лето после первого курса. Я сижу под стогом сена, на плече у меня то ли вилы, то ли грабли (виден черенок), глаза прищурены от солнца, я отдыхаю.



Папу эта фотография очень занимала. По его мнению, она свидетельствовала, что благодаря нескольким славянским каплям крови мне дано вот так растворяться во времени, никуда не спешить, просто быть. Он же может лишь завидовать этому, а сам живет в неумолимо хронометрированном мире, причем не столько немецком, размеренном, сколько еврейском, истеричном. Будучи воплощением немецкой — «кантовской» — организованности в российском хаосе, он постоянно оказывался единственным шагающим в ногу и нервно ожидающим подхода остальных частей.

Прирученный им считать, что я опоздал на встречу, если пришел на минуту позже назначенного времени, хотя бы и на полчаса раньше партнера, я унаследовал-таки его комплекс пунктуальности и раздраженной зависти к неторопливым аборигенам. В «Тихом Доне» меня больше всего восхищало, как там назначаются свидания: «Повечеряете — выходи к плетню».

В «Кроткой» Достоевского герой, типичный западник, узнав о самоубийстве жены, восклицает: «Всего только пять минут опоздал!» В действительности он опаздывает на целую жизнь, которая у него четко распланирована (позорное прошлое — накопительское настоящее — светлое будущее) и проходит в дрессировке жены-бесприданницы. Мотивы времени и денег совмещает род занятий героя — владельца закладной конторы. По национальности он, как и старуха-процентщица в «Преступлении и наказании», не еврей, но профессия у него типично жидовская — взимание денег за самый ход времени. Сегодня это норма в обуржуазившемся мире, но в Средние века христианин не мог заниматься столь богопротивным делом, и оно выпадало на долю евреев.

Да что там, уже после перестройки одна православная художница из России, гостившая у нас в Санта-Монике, отказывалась понять, как это можно дать займы тысячу долларов, а через год требовать назад тысячу сто. Я помнил ее мать, в молодости служившую домработницей в семье моих знакомых, а ее бабушка вообще успела родиться крепостной.

Я тоже никак не могу выдать из себя раба — мне морально тяжело платить за парковку машины, то есть, грубо говоря, за

время и место. (Слава богу, для велосипедов и то и другое пока в основном бесплатно.) Но когда я пожаловался на этот пережиток российского прошлого коллеге-американцу, он признался, что ему тоже противно платить за паркинг. И это притом, что формулы «Время — деньги» и, буквально, «Спасибо вам за ваше время» давно уже въелись в плоть, кровь и подсознание американцев.

Во время первой поездки в Польшу (1967) — эту славянскую и единственно доступную мне тогда Европу — я остановился у тамошних коллег. Я с удивлением отметил, что, когда мы сядились завтракать, хозяина не бывало дома. Оказывается, он вставал раньше всех и отправлялся на прогулку, которая венчалась чашечкой кофе в кафетерии. Но ровно в 9 появлялся, постукивая пальцем по крышке часов, со словами: *Mam zawsze punkt* («У меня всегда ноль-ноль»). Фраза запомнилась, ибо звучала несколько раз в течение дня, — каким-то образом, когда он смотрел на часы, на них оказывалось ровно.

Мне эта еврогармония не давалась. Пытаясь освоить культуру кафетерии (поводом служил роман с юной полькой), я никак не мог научиться бесконечному растягиванию микроскопической порции эспрессо. Я выпивал вторую, третью, четвертую чашку и томился в ожидании дальнейших событий.

Cinéma vérité

Во сне я летал и, проснувшись, рассказал тебе об этом. Рассказал, в общем, все как было, да и зачем врать? Ты поверила и только спросила:

— Как птица? На крыльях?

— Нет, — опять-таки честно сказал я. — На крыльях каждый может. Я без крыльев. Низко и недалеко, так, метров по десять-пятнадцать, под гору — по переулку, идущему немного вниз, кажется, Еропкинскому, между Пречистенкой и Остоженкой. Но как-никак парил — единственный встречный парень посмотрел на меня с завистью.

— А дальше что?

— А дальше пошел пешком, но вышел уже не на давнишнюю Остоженку, а на пустынное шоссе в горах, как бы в Калифорнии, около какого-то лыжного спуска. И проснулся.

Все так и было. Чего я не рассказал — это что́ было перед тем. Не рассказал, но вот пишу. Мне снилась... — теперь, при свете дня, я могу тебе сказать кто, а пропечатывать, думаю, не стоит. Ничего особенного, мы встретились, она собиралась ко мне, а потом вдруг оказалось, что она на работе, занята, так что свидание отпадало. Это были ее типичные игры, и я ушел с тяжелым чувством, но на улице испытал невероятное облегчение. Я пошел быстрее, потом побежал вприпрыжку, начал понемногу взлетать и держаться в воздухе, может быть всего в полуметре от земли, но все-таки. А дальше ты знаешь.

— И все?

— С этим все, но пока осторожно выходил из сна, стараясь его не упустить, вспомнил, как тридцать с лишним лет назад, весной, только что поженившись, мы с Таней¹ решили на недельку съездить в Крым, взяли с собой Юру и поехали.

— А какая связь?

— Понятия не имею. Просто вспомнилось. Был конец мая, облачно, море холодное, сначала мы по наводке знакомых остановились в Гурзуфе, но пляж показался странно тесным, мы перебрались в Ялту и там поселились в городе, в многоэтажном доме далеко от берега.

Вообще все было не как всегда на юге. Сезон еще не начинался, было безлюдно, мы по-хемингуэевски перекочевывали из одного кафе в другое, в одном завтракали, в другом пили кофе, в третьем ели мороженое, и вдруг встретили знакомых филологов, но не сверстников, а старших коллег — Виктора Давыдовича Левина и Ефима Григорьевича Эткинда. Они понимающе присоединились к нашей фиесте, и час-полтора мы провели одной компанией.

Я раньше не видел их вместе, но они держались как добрые знакомые. Обоим было под шестьдесят, Левину (сейчас посмотрел) на три года больше, чем Эткинду. Оба были красивы, хотя по-разному, Виктор Давыдович — небольшого роста, лысоватый,

¹ Т. Д. Корельская, моя вторая жена.

очень изящный, я бы сказал, миниатюрный, а Эткинд — высокий, немного косолапый, с головой на крепкой наклоненной вперед и вбок шее.

Эткинд был в Ялте один, а Левин с женой, которая появилась несколько позже, к концу совместного времяпрепровождения, и во время прогулки общаться с ней выпало Тане. Четверо мужчин шли впереди, обсуждая филологические темы, а Таня и Любовь Ильинична, решительного вида еврейская женщина с высокой черной прической и огромным носом, замыкали шествие, тоже оживленно беседуя, надо полагать, о чем-то более простом, женском.

Наших умных разговоров не помню. Возможно, помнит Юра, который с детства любил читать биографии академиков, чтобы стать как они, а мои рассказы («НРЗБ») еще в рукописи ругал за то, что я описываю всякую сексуальную ерунду, хотя мы знали столько великих людей, вот про них бы и писал.

А о чем шла речь у дам, вернее, что, не давая себя перебить, говорила Любовь Ильинична, мы узнали, как только остались втроем.

— В гостях я сразу иду в уборную. Там все видишь. Я считаю, что унитаз — лицо хозяйки! Лицо хозяйки — унитаз!!

Свою мысль она повторяла на разные лады все время, пока шла с Таней, и с тех пор, вспоминая ее лицо, я слышу эти слова. (А их с Виктором Давыдовичем семейный портрет в интерьере неизменно рисуется мне в духе концовки бабелевского «Короля», как ни противоположена избранной теме цитация.)

На следующий день мы поехали в Мисхор, где лет десять назад, тоже весной, были мы с Юрой. Но прогулка не задалась. Таня кривилась, глядя на море, которого, оказалось, не любит даже издали, а Юре в глаз попал сок какого-то ядовитого растения, глаз слезился, он тер его, становилось все больнее, и было неясно, что делать. Мы зашли в ресторанчик на открытом воздухе, который помнили с прошлого раза, с большими разноцветными плитками вместо пола, но официант страшно тянул даже с накрыванием на стол, и Юра острил сквозь слезы:

— Он приносит буквально в час по чайной ложке! Алик, этот человек буквально убивает меня!..

Больше ничего интересного не помню. Да, однажды на шоссе мимо нас проходила группа негров, я понял, что это сомалийцы,

на ходу вставил что-то к месту, и они долго ошарашенно вертели головами.

Купаться было нельзя, иногда накрапывало, вернее, мы оказывались внутри полных влаги облаков, медленно проплывавших по склонам, но потом опять выходило солнце, кругом цвело иудино дерево, и все было именно так, как было. Глубокие мысли покойных старших товарищей можно прочесть в их книгах, а как они ступали и говорили, как лицо соотносится с унитазом, чего ждать от приморской флоры, крымских официантов и собственной жены, наконец, как летать, не имея крыльев, — согласись, это и есть правда жизни.

Guardate, Mosca!

В конце 1970-х годов ко мне неожиданно обратился дружественный редактор из ведущего интеллектуального журнала с просьбой написать о книге Умберто Эко — я был единственным ее владельцем в Москве. Я согласился, но заранее оговорил, что никакого марксизма-ленинизма у меня не будет. Он сказал, что марксизма у них хватает в других разделах, а от меня требуется профессиональная рецензия, каковую они спокойно опубликуют без купюр.

Ну, без купюр — это положим. Статью прочитал Главный, и она ему даже понравилась. (Это впервые что-то мое понравилось Главному с простой крестьянской фамилией.) Но он потребовал выкинуть множество сомнительных имен вроде Сталина и Троцкого, а также придрался к частоте упоминаний о Романе Якобсоне, разрешив употребить эту крамольную фамилию не более двух раз. Тогда я прибег к криптографии и насытил текст прозрачными отсылками к якобсоновским работам, в том числе к его анализу предвыборного лозунга *I like Ike* («Я люблю Айка»), протащив таким образом еще и Эйзенхауэра.

Статья постепенно двигалась в печать, когда мой знакомый Младший редактор позвонил мне и от имени уже не партийного Главного, а прогрессивного Ответственного (с, наоборот, незабываемой кавказской фамилией) сообщил, что статью надо будет сократить почти вдвое. Свое изумление я выразил — для пе-

редачи Ответственному — в столь язвительной форме, что тот счел необходимым принять меня лично.

Выслушав его аргументы (не помню их, да они и неинтересны — дело не в них, а в демонстрируемой ими власти, и отвечать на них можно тоже только силой), я сухо указал ему на историю нашей договоренности о рецензии (размер, содержание, сроки), — договоренности, систематически журналом нарушаемой, вопреки, кстати, его возвышенно-философскому названию и либеральной репутации. Спор затянулся, и Ответственный сказал что-то в том смысле, что он занят. Я немедленно парировал, подчеркнув, что я и сам человек занятой, профессионал (за какого они меня, собственно, и брали), и мне проще выбросить рецензию в корзину, чем продолжать эту дискуссию с людьми, не отвечающими за свои слова. В разговоре с интеллектуалом, выступающим в роли Ответственного, это был неотразимый ход, и рецензия вышла в заказанном размере.

Я люблю ее. В ней я первым предложил ввести в русский язык слово *privacy*. (Кажется, оно все еще не позаимствовано, хотя от маркетингов, дилеров и киллеров рябит в глазах.) Эко в дальнейшем приехал в Москву и обнаружил знакомство с моей рецензией, в частности — с критикой неточности его методов.

— Ты не обиделся? — спросил я его.

— Наоборот. Итальянские коммунисты любят обвинять меня в чрезмерном техницизме, а теперь я им говорю: Guardate, Mosca! («Смотрите — Москва!»).

Ответственный тоже в какой-то мере прославился, но потом умер. Младший стал уважаемым ученым. Эко значит донельзя (но умер, пока издавалась эта книга). Главный возвысился было при перестройке, но с тех пор о нем не слышать. Автор уехал и приезжает ругаться с новыми редакторами...

При музыке?!

Это будет сугубо платоническая история, даже две, одна платоничнее другой.

На платонизме приходится настаивать, потому что то и дело слышатся упреки, что мои виньетки полны мачистского хвостов-

ства. Один читатель (он же — любимый поэт) даже изобразил: стал в мужественную позу, показательно напряг бицепсы обеих рук и издал отрывистое гортанное «Ы!». При его малом росте это звучало особенно издевательски. Возражать было бесполезно — читатель (тем более поэт) всегда прав, но где, где у меня эта похвальба?! Романы все больше либо воображаемые, либо нелепые, тщеславный герой-рассказчик систематически отвергается, теряется, не справляется.

И это, во-первых, правда, а во-вторых, благодарный материал: все неудачные романы неудачны по-разному.

Но обманчивое впечатление устойчиво, — уж не потому ли, что провалы описываются так вкусно? И тогда жаловаться вроде бы грех, а «Ы!» следует записать в свой авторский актив — как комплимент? Так или иначе, на этот раз постараюсь сделать двойной упор на скромность, неуспех, платонизм и полную анонимность, оставляя лишь узенькую щелку для сублимации.

Анонимность пусть послужит гарантией против тщеславия. Меня всегда притягивали личности выдающихся современников — любого пола и возраста, но здесь речь, естественно, пойдет о прекрасных дамах, так что тем более никаких имен. Сублимация — sì, неймдроппинг — no.

В большинстве случаев знакомство было платоническим дальше некуда. Я взирал на них (Брижит Бардо, Эву Демарчик, Людмилу Гурченко, Ольгу Яковлеву...) — из зрительного зала, они о моем существовании не догадывались, то есть пребывали в безопасном публичном пространстве, в мое личное не втягиваясь, и, значит, упомянуть их позволительно.

А в свое время я, выражаясь по-зощенковски, конечно, увлекался одной лауреаткой. Хотя роман и тут если и был, то совершенно платонический и, боюсь, односторонний. Тем не менее кое-какие личные отношения имели место и будут честно описаны, но в строго анонимном ключе, как ни трудно рассказывать о знакомстве со знаменитостью, сохраняя тайну имени. Будем считать это еще одним творческим вызовом, еще одним формальным ограничением, вроде сонетной схемы или пятистопного хорая.

Был конец 1970-х, мы с Таней уже настроились на отъезд, и одной из насущных проблем стала продажа нашей коопера-

тивной квартиры. Мы включились в полулегальные переговоры с другими отъезжантами и жуликоватыми маклерами. Лицо одного афериста помню до сих пор; он предлагал разнообразные варианты обменных «цепочек» (как если бы располагал неограниченным запасом жилья) и все требовал «определиться», а мы все не решались, дело кончилось ничем, и мы за бесценок лишились квартиры на Остоженке, ныне одной из самых дорогих улиц в мире. И вот, по ходу этих метаний, Таня однажды пришла домой то ли из конторы по обмену, то ли с уличной биржи-толкучки со словами:

— Знаешь, с кем я там познакомилась?

— ??

— С Н.! (Прозвучало громкое музыкальное имя.) Они тоже думают об отъезде и обмене. Я рассказала ей о нас, упомянула Льва Абрамовича (то есть моего папу Л. А. Мазеля), мы обменялись телефонами. Наверное, она сегодня зайдет к нам посоветоваться!

И — о чудо! — сама Н. действительно зашла, и мы познакомилась.

Н. была исполнительницей мирового класса, одной из лучших в своем амплуа, по возрасту располагалась где-то между мной и Таней, муж ее блистал в соседней музыкальной нише, оба почитали моего папу, оба страдали по еврейской линии и не знали, куда кинуться. Она оказалась прелестной, доброй, скромной и очень уязвимой, и не полюбить ее было нельзя.

Я сказал *прелестной*, поколебавшись назвать Н. красивой. Она была, бесспорно, привлекательна, с большими черными глазами, изящным тонким носом и смуглой кожей, но мало что смуглой, еще и как бы слегка припудренной углем. Это выглядело по-еврейски знакомо и располагающе. Были и какие-то другие странные признаки сродства, не сразу мной осознанные.

Таким образом, имелся прочный фундамент для сближения. Сближения — да, но романа ли? С одной стороны, вроде бы налицо все «за», а с другой — ну какой это роман — в уютном лоне двух семей, под флагом дружбы и лучших чувств? То есть при достаточно изощренном взгляде на вещи почему бы нет, но с Н. подобные гадости в голову не приходили.

Дружба же не замедлила расцвести. Мы стали ходить на дефицитные концерты, познакомились с ее мужем, матерью и аккомпаниаторшей, сделались своими людьми за кулисами Большого зала, а Н. стала часто забегать к нам, благо тоже жила в центре.

Дело в том, что, задумавшись об отъезде, она решила подогнать свой английский, который, как я быстро установил, оставался на жалком школьном уровне. Я предложил свои услуги, она радостно согласилась, и мы стали по возможности регулярно заниматься. Но ученицей она оказалась на редкость негодной: на уроки опаздывала, дома не готовилась, способностей к языку не обнаруживала.

Возможно, проблема состояла в том, что занятия были бесплатные, а, как я потом узнал, у американских врачей есть поговорка: *If you don't pay, you don't get better* («Если Вы не платите, Вы не поправляетесь»). Вообще-то, мы с Таней к тому времени благородно уволились с работы, чтобы не подводить коллег, и лишняя мелочь не помешала бы, но об брать деньги с Н. не могло быть и речи, да и за концерты мы ведь не платили.

Уроки шли на полном взаимном энтузиазме, во всяком случае энтузиазме с моей стороны, подогреваемом поклонением, на грани влюбленности, великой артистке. При этом никакого желания обнимать и целовать ее у меня, насколько помню, не было, картины воображаемого любовного обладания меня не преследовали. Повсюду следовать за вами — хотелось, а обнимать у вас колени идеи не возникало. Сколько энтузиазма и влюбленности было с ее стороны, я затруднился бы сказать и тогда. Но мне ничего этого, повторяю, не требовалось. Я испытывал, под аккомпанемент музыкальной классики, чистое, благоговейное восхищение, какое описывают в романах XIX века, а если чем-то и замутненное, то не плотскими притязаниями, а, напротив, исключительно духовным — ударявшим в голову — чувством причастности к мировым эмпириям.

Возможно также, что скромность успехов объяснялась избранной мной методикой обучения, сводившегося к заучиванию наизусть английских лимериков — коротких, забавных и непристойных. То ли они казались ей слишком смелыми, то ли слишком примитивными, но, в общем, они как-то не пошли.

А может, не пошел тот сексуальный напор, сублимацией которого они, скорее всего, являлись.

Постепенно уроки английского стали случаться реже, а там и совсем прекратились. Дружба же продолжалась, но без прежнего накала. Помню, как однажды поехал на велосипеде с дачи, где гостили мы с Таней, на другую, где они репетировали по выходным. Меня встретили радушно, но я вдруг почувствовал себя совершенно сбоку припеку, посидел, послушал, попрощался и уехал.

А дальше мы и совсем уехали. Они остались. Но Н. иногда концертировала за рубежом, и ее голландская гастроль пришлось на мой семестр в Амстердамском университете. Таня побежала в Concertgebouw, зашла и за кулисы. Я в Амстердаме концерты посещал, но тут не пошел и больше Н. никогда не видел. Мой интерес к ней был, как видим, глубоко интимный, хотя и на гламурной — и отчасти музыкальной — подкладке. И сугубо платонический.

Я обещал две истории, но в каком-то смысле история всего одна, потому что вторая представляет собой ответвление, а вернее, предвестие первой.

Знакомство с Н. было, как уже говорилось, подсвечено ощущением некоей изначальной близости, как если бы мы были родственниками или встречались в прошлой жизни. Я сказал ей об этом, стал расспрашивать о ее семье и рассказывать о своем детстве, и тут вдруг оказалось, что в девятилетнем возрасте я знал ее тетю, Т., тоже музыкантшу, подававшую большие надежды. Называть ее по имени не приходится, хотя оно навсегда врезалось в мое юное сердце, потому что я был недолго, но по-детски беззаветно влюблен в нее — не без взаимности.

Это случилось совсем давно, холодной и темной зимой 1946 года, в Доме творчества композиторов под Ивановом, и видится теперь, как сквозь тусклое стекло. Мы с мамой и папой жили там по путевке, наверное, в отдельной даче, но таких деталей не помню, а помню, что в полуосвещенной гостиной основного корпуса избранное общество собиралось и играло по вечерам в *маджан* (или *маджонг*) — китайскую игру со множеством цветных костей, сохранившуюся в собственности и культурных

традициях этого дома с довоенных (дореволюционных?) времен. Снова оказавшись там через много лет, я спросил про маджан, но его уже не было в наличии и никто о нем не слышал.

Т., однако, запомнилась не за маджаном, а в опустевшей, тоже полутемной столовой, наверное после завтрака, когда народ в основном разошелся, но за одним столиком продолжало сидеть несколько человек, они спорили о чем-то мне непонятном, я же вертелся вокруг и пялился на Т., такую молодую, сверкающе красивую, улыбающуюся, что хотелось как-то быть с ней, при ней, около нее. Она, да и все вокруг, видимо, это понимали, потому что кто-то (папа?) вдруг спросил, пойду ли я домой с мамой или останусь с Т., и она потом меня приведет, и я ответил, что да, останусь с Т., и потянулся к ней. Она обняла меня, сжав ногами, потом посадила к себе на колени и сказала что-то нежное, так что получилось, что я люблю ее больше мамы и она меня тоже любит. Все мило посмеялись, но я потом всегда подбегал к ней и пристраивался у нее на коленях, это стало моим официально признанным правом.

А потом мы все разъехались, и вскоре стало известно, что Т. умерла — совсем молодой, лет тридцати. Но любовь на этом не кончилась, а надолго ушла куда-то под сурдинку. Вообще же музыка (не говоря уже о гламуре) сыграла в этом первом проведении темы еще меньшую роль, чем во втором, вдохновленном Н.

И с платонизмом в детстве было много проще.

Nowy Świat

Когда я начинал заниматься языком сомали (1963), он был еще бесписьменным и материалов на и о нем было немного. Скучную эту литературу я читал в Ленинке, а кое-что мне доставляли курсировавшие между Москвой, Могадишо и Лондоном сомалийские студенты и сомалийцы-дикторы Московского радио, где я работал на полставке. По-русски не было совсем ничего, а среди выходившего на Западе выделялись работы Богумила Анджеевского (Andrzejewski), профессора факультета

востоковедения и африканистики (School of Oriental and African Studies) Лондонского университета.

Как я постепенно узнавал, Анджеевский, поляк, в начале войны интернированный в СССР (кажется, в Узбекистане, ср. ташкентские стихи Ахматовой к Чапскому), присоединившийся к армии генерала Андерса и сражавшийся, но не погибший под Монтекассино, после войны не вернулся в советизированную Польшу и обосновался в Англии. Оказалось, что, помимо профессорствования в университете, он сотрудничает на Би-би-си в качестве внештатного консультанта сомалийской редакции. Об этом мне поведали мои друзья-информанты с радио, которые, бывая в Лондоне, подрабатывали на Би-би-си и были с ним знакомы. Рассказывали они и ему обо мне — молодом советском энтузиасте сомаловедения. Я тщательно изучал его работы, но сам в переписку с ним не вступал, твердо постановив, что обращусь к нему не иначе как послав собственный научный опус.

Этот час пробил наконец в 1966 году, когда в сборнике «Языки Африки» появилась моя статья «Последовательности предглагольных частиц в языке сомали». Я немедленно отправил ее Анджеевскому, сопроводив почтительным письмом, в котором выражал надежду, что даже если о русском языке у него не лучшие воспоминания, то как-нибудь, между польским и сомали, он разберется в моем тексте, а главное, в венчавшей его таблице.

Результат превзошел ожидания. Меня не только прочли на сомаловедческом небе и не только одобрили в целом. Мне написали, что графа 11-я моей таблицы представляет собой ценное добавление к тому, что мы (!) до сих пор знали о языке сомали. После этого между мной и Анджеевским установилась переписка; он стал присылать мне свои работы, а когда я защитил диссертацию по сомалийскому синтаксису и выпустил книгу, я послал ее ему.

Все это происходило заочно, через более или менее железный занавес — вплоть до 1976 года, когда я в последний раз приехал в Польшу и по наводке общего знакомого, польского арабиста

и африканиста Анджея Заборского, разыскал Анджеевского в Варшаве, где он был гостем университета.

Анджеевский оказался седеющим красавцем-джентльменом с усами. Он повел меня на ланч в дорогое кафе «Новый свет» на одноименной улице — одной из главных, ведущей в Старый город. Говорили о разном, в частности о созревающем у меня намерении эмиграции. Я бредил Западом, он предупреждал меня о трудностях с работой. Он похвалил мою книгу о синтаксисе сомали, обнаружив хорошее с ней знакомство. Тогда, набравшись смелости, я спросил о том, о чем хотел спросить давно: как он относится к Приложению V, где дана отличная от его собственной трактовка частицы *wacha*. Он сказал, что в общем и целом принял мою трактовку.

— Я пользуюсь ею, — сказал он, — в преподавании сомалийской грамматики студентам из Сомали.

Тут я почувствовал, что на глаза у меня навертываются слезы и начинают течь по щекам. Было отчего. Не кто-нибудь, а сам Анджеевский, не где-нибудь, а в Лондонской школе, преподает сомали не кому-нибудь, а сомалийцам, и учит их не по своей книге, а по моей! И рассказывает мне об этом не где-нибудь, а в любимой мной Польше, в кафе на моей любимой улице со столь многозначительным названием.

Через три года, действительно держа путь в Новый Свет, я ненадолго оказался в Лондоне и повидался с Анджеевским. Так как у него было мало времени — они с женой спешили домой за город, — встречу он назначил в привокзальном кафе. Ему вскоре предстоял уход в отставку (в Англии обязательный), и они с Шилой подумывали, не переселиться ли им тогда в Польшу, где на его скромную по английским масштабам пенсию можно будет чувствовать себя обеспеченными и без особых тревог «start slowly sinking down to death», как с безупречной двойной аллитерацией, на *s* и на *d* (вполне, кстати, в духе аллитерационной сомалийской поэзии), мечтательно закончила Шила.

На пенсию он в дальнейшем вышел, однако ни в какую Польшу они, конечно, не переехали. Я переписывался с ним, но все меньше, так как сомали постепенно забросил. В Лондонской

школе я как-то раз побывал уже после его смерти — в гостях у А. М. Пятигорского¹. Саша принял меня в той самой Senior Common Room, то есть попросту профессорской, название которой так интриговало меня тремя десятками лет раньше на письмах Анджеевского. А сейчас на пенсию вышел и Саша. Почему-то мне кажется, что, независимо от ее размеров, на покой в Россию он не поедет².

¹ А. М. Пятигорский (1929–2009).

² Написано в конце 1990-х гг.

Там

Погранэтыды

1

ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ (включая пять более или менее сознательных) о выезде за рубеж я не помышлял, твердо зная, что граница на замке. Потом ее стали пересекать заезжие иностранцы, и с некоторыми я знакомился. Потом я и сам начал ездить, правда исключительно в Польшу по частному приглашению, чувствуя себя зощенковским Минькой, способным откусить только от яблочка на нижней ветке.

Но постепенно я смелел и однажды провез к польским издателям верстку чужой статьи. С диверсантской находчивостью применившись к обстановке, я засунул оттиск в настенную библиотечку пропагандистских брошюр. В Бресте пограничники по-уставному споро нырнули под нижние полки, отжавшись, взлетели к верхним, тщательно осмотрели мой багаж, но коридор инструкцией охвачен, видимо, не был. Стена, да гнилая, всплыло в памяти что-то подпольное.

В мой второй визит в Польшу варшавские друзья повезли меня в Татры, и там, с видом на озеро Морске-Око, мы демонстративно перешли чешскую границу, никак, впрочем, не охраняющуюся. А через две недели объединенные войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию всерьез, и на яхтенном кемпинге в Гижицко молодые французы спрашивали меня: «Зачем вы это сделали?»

Назад я ехал со страхом, как бы уже в другую страну. В полупустом поезде молодой солдат, кружным путем возвращавшийся из Чехословакии, найдя наконец, с кем поделиться распившей его гордостью, рассказал мне, как, едва-едва опередив западных немцев, они защитили Прагу. Я возразил, что ФРГ — разоруженная оккупированная страна, но наткнулся на полную убежденность и продолжать дискуссию остерегся.

2

Получив визу для выезда к вымышленным родственникам в Израиль и забирая в последний раз из прачечной свое белье, я стал торжественно прощаться с тамошними тетеньками. Но в безвозвратный отъезд они поверить отказывались, допуская максимум командировку на три года. «Да нет, все, уже не увидимся». — «Что вы! Ведь вы же советский человек».

Однако этот врожденный недостаток был уже мной успешно утрачен, и 24 августа 1979 года я покинул СССР, раз и навсегда расставшись как с общей головной болью проживания на его территории, так и с изматывавшими меня вполне конкретными мигренями. Не отсюда ли слово «эмиграция»?

Взаимоотношения еврея-отъезжанта с советской таможней — особая история, которую здесь опускаю. В моем случае ее пуантой стало явление специально вызванного пограничниками эксперта (провербильного искусствоведа в штатском), который не разрешил вывезти верстку статьи о Пушкине, печатавшейся в Швеции и содержавшей небольшие схемки. (Когда в 1988 году я впервые прилетел в Москву в ходе перестройки, опять был вызван специалист, на этот раз без скрипа пропустивший гору рукописных и печатных материалов.)

3

В Европе все пошло как по маслу, только один раз слегка подгадили французы (о них ниже). Уже в Вене израильский Сохнут легко разжал свои якобы принудительные объятия (напомним лишь, что они остаются раскрытыми) и отпустил нас с Таней на

попечение австрийских друзей и Международного комитета спасения, в лице его местного представителя — доктора Фауста. В тот же день из Парижа позвонил Мельчук, чтобы внушить главное: отныне никакое решение не является роковым, ибо может быть в любой момент переиграно.

Правда, передислокация в Амстердам, куда у меня было приглашение на работу от Тойна Ван Дейка (эти фамилии я не выдумываю), все откладывалась, ибо Тойн затерялся где-то в Австралии и нужного письма на гербовой бумаге не слал. Но вот он вернулся, и визу, какого-то самого последнего разбора (*titre de passage*), выдали. В амстердамском аэропорту мы встали было в длинную въездную очередь, но — чудо! — оказались вызволены из нее Ван Дейком, свободно пересекавшим символическую, но обычно строго соблюдаемую таможенную границу и быстро переправившим через нее и нас.

— Благодаря тебе, — пояснил он, — я стал своим человеком в наших дипломатических и полицейских кругах. Да, извини за дурацкую задержку в Австралии. Я там познакомился с одной красоткой... Но ты не очень опоздал — семестр только начинается.

4

Семестр семестром, но преподавал я только по вторникам и средам, а остальное время предавался оргии вымечтанных поездок по Европе и за пару месяцев побывал с лекциями аж в семи странах. Поэтому, когда в один прекрасный четверг мы с Доротеей Франк (тогдашней женой Ван Дейка; брак, впрочем, был открытый — любовные партнеры по-джентльменски исключались только в Амстердаме) столкнулись в разделявшем наши кабинеты коридоре, она с нарочитой театральностью проинтонировала:

— Aa-lik? Still in the coun-try?! («...Все еще в королевстве?»)

Голландия действительно невелика, докуда угодно рукой подать. Я испытал наконец тот европейский кайф повсеместной досягаемости, о котором раньше только читал — в «Ни дня без строчки», где Олеша восхищается уютной миниатюрностью наполеоновских переходов между завоевываемыми столицами. А потом я прочел об ответе Лолы Монтеcs немецкому курфюрсту

(кажется, самому Людвигу Баварскому), потребовавшему покинуть пределы его страны: «Ну, это дело недолгое!»

Приятно было включиться в давно разработанный топос.

5

В Германии, куда я поехал с несколькими лекциями, сильных момента было два.

Первый — когда, уже будучи там, я получил приглашение выступить еще в одном университете и задумал присоединить к нему лишнее свидание с легкой на подъем и повсюду въездной датчанкой Джуди. Услышав о причудливом усложнении маршрута, коллега, принимавший меня в Регенсбурге, вычислил, что при перемене билетов мне полагается мало кому ведомая скидка, пошел со мной на вокзал и выбил ее.

Второй — когда вечером накануне отъезда мне пришлось напомнить ему про гонорар.

— Wird alles organisiert. Wir sind in Deutschland. («Все будет организовано. Мы в Германии».)

— Когда же?

— А когда поезд?

— В 9:20 утра.

— В 9:00 мы приходим на кафедру. Секретарша печатает письмо, и в 9:03 я его подписываю. В 9:05 бухгалтерия выписывает чек. В 9:07 мы относим его в кассу, где тебе выдают деньги. В 9:10 мы садимся в машину, в 9:15 мы на вокзале, и в 9:18 ты садишься в вагон, а я иду на лекцию, — долгие прощания на перроне не в моем вкусе.

Так все и произошло, и я поехал в ганзейский город Любек, поближе к Дании — да и к Голландии.

6

Случай проверить утверждение Мельчука, что все всегда поправимо, представился однажды по дороге из Италии во Францию. На вокзальном табло в Милане было обозначено несколько поездов, и я выбрал ближайший. Лишь когда он вошел в длин-

ный альпийский туннель, чтобы вынырнуть в Швейцарии, я осознал свою ошибку: ехать надо было через итало-французскую границу. Швейцарская виза у меня, правда, была, но одноразовая, полученная для предстоявшей через две недели поездки в Цюрих. Ее погашение означало бы новый раунд хлопот в швейцарском консульстве. Но что было делать? Поезд уже шел по Швейцарии, и пограничники ожидалась с минуты на минуту.

В вагоне, кроме меня, была только одна пожилая женщина. Мы разговорились, я поделился с ней своими страхами. Она успокоила меня, сказав, что ездит тут часто и пограничники ходят не всегда. После чего пустилась в воспоминания о временах Второй мировой войны, когда Швейцария была со всех сторон окружена фашистами, но в контрабандных, да и просто бытовых целях она спокойно проводила людей через границу.

Я слушал ее, нервно поглядывая на двери вагона. Пограничники все не шли, и я уже поверил, что, может, и правда не придут, когда они все-таки появились. Они с интересом осмотрели мою подорожную, сочувственно выслушали мою историю и, вежливо осведомившись о теме цюрихской лекции, пожелали успеха. Визу трогать не стали.

7

Удручающе чиновную ноту в эту европейскую идиллию внесли французы. Въездную визу в США нам предстояло получить в Париже, где располагалось ближайшее отделение Международного комитета спасения. Там моим досье занимались две французские дамочки, фамилию помню только одной, мадам Мартен, но говорили они всегда от имени некоего авторитетного «мы», означавшего то ли их двоих, то ли комитет в целом. Я перезванивался с ними из Амстердама. Каждый раз, когда возникало бюрократическое осложнение, я слышал назидательное:

— *Parce qu'il faut lire attentivement nos lettres, Monsieur Jolkovski* («Потому что надо внимательно читать наши письма, месье Жолковский»). В их *nos* («наши») хорошо запоминалось образцово закрытое французское «о», моя фамилия корректно начиналась с малодоступного другим иностранцам «ж», но в целом, с ударением на «и», она звучала отталкивающе.

Проблемой оказался уже самый въезд во Францию. Во французском консульстве в Амстердаме секретарша, долго пренебрегавшая моим присутствием, а потом демонстративно удалившаяся в другую комнату с чашкой кофе, наконец снизошла до меня и объявила, что о визе не может быть и речи, поскольку действие моего *titre de passage* скоро истекает, да и с самого начала простиралось всего на четыре месяца, а никакое уважающее себя консульство не оттиснет своей печати на документе, выданном менее чем на полгода. Мои апелляции к испещрявшим эту филькину грамоту визам других стран успеха не имели; она просто ушла и больше не появлялась.

Не помогло и обращение к мадам Мартен, — оказалось, что в одном из их писем месть Жолковски был поставлен в известность об этих консульских тонкостях.

Ощутив на своей шкуре действие знаменитого французского этатизма, я пошел плакаться к Ван Дейку, тайно надеясь на завязанные им дипломатические знакомства. Он без дальних слов позвонил в Министерство иностранных дел, и проблема была решена: нам согласились выдать шестимесячный вид на жительство, но не по почте, а в собственные руки.

— Заодно посмотрите Гаагу, — сказал Ван Дейк. — В министерстве обратитесь к г-ну Ван Ботену.

Г-н Ван Ботен («Кораблев») оказался милым молодым человеком лет двадцати пяти. Он охотно выписал новый вид на жительство, вместе со мной посмеялся, что выдает его, чтобы мы могли уехать, и взял с меня честное профессорское, что, прибыв в Штаты, я верну его по почте.

В Париже я наконец лично познакомился с обеими строгими дамочками. Они опять начали шпынять меня какими-то формальностями, когда появилась их начальница, американка, миссис Харрисон или Харрингтон, в общем, что-то на «Ха». Это была немолодая нескладная высокая полная женщина, с простецкими, но очень доброжелательными манерами. Она была рада поболтать по-английски с новоиспеченными соотечественниками и, распорядившись выписать нам все необходимые бумаги, в том числе какие-то фантастические суточные, увела нас к себе в кабинет.

С этого момента я стал смотреть на мадам Мартен и ее напарницу, да и на французские дела вообще, уже, так сказать, из Америки, из прекрасного далека. Как сказано у Пушкина: *А далеко, на севере — в Париже — Быть может, небо тучами покрыто, Холодный дождь идет и ветер дует. — А нам какое дело?..*

8

В Америке забавный эпизод произошел в ходе первой поездки из Итаки, штат Нью-Йорк, к друзьям (Мельчуку и Щеглову) в Монреаль. Это было зимой, задувала метель, на полпути к границе мы остановились заправиться. У нас была огромная дешевая старая машина (Dodge Dart Swinger), с длинным плоским капотом и таким же багажником, пожиравшая массу бензина. Водила ее Таня, я еще не умел, но с заправочным шлангом справлялся. В Канаду мы въехали через какой-то периферийный пропускной пункт, проблем не возникло (грин-карт, позволяющих свободный въезд в Канаду, у нас еще не было, но мы озаботились визами заранее), таможенник даже вышел помахать нам вслед, но вдруг стал что-то кричать и делать отчаянные знаки руками. Мы остановились, я вышел и увидел, что на левом крыле багажника, рядом с заправочным отверстием, лежит его крышечка. Я забыл завинтить ее, и она благополучно проехала через все ухабы, снегопады и госграницу.

На обратном пути канадские пограничники все-таки усмотрели в наших визах какой-то непорядок, и мне пришлось пуститься в громкие рассуждения о том, что по эту сторону железного занавеса с подобными притеснениями я сталкиваюсь впервые. Насколько помню, бумага у нас была действительно с изъяном, так что пограничники были правы, но пошлая дисидентская риторика, видимо, была для них внове — и подействовала.

9

В Европу я снова поехал только через полтора года. Меня пригласили прочесть курс в Летней школе по семиотике в Урбино, и мой корнелльский завкафедрой Джордж Гибиан сказал, что съездить надо, чтобы вернуться в Итаку уже как домой.

Среди коллег-преподавателей в Урбино оказалась моя знакомая Энн. Она приехала из Англии на машине, и однажды на выходные мы отправились в Рим. Там меня единственный раз в жизни обокрали — итальянские воры не посрамили своей репутации. Мы оставили машину минут на десять, чтобы быстро обойти виллу Боргезе, и, вернувшись, обнаружили разбитое окно и пропажу сумок. Мои материальные потери свелись к паре джинсов, но важнее была утрата и без того сомнительных документов.

Следующие три дня я провел в полиции, где мне выправляли бумагу о том, что я действительно был обокраден, и в американском консульстве на роскошной Виа Венето, где на основании этой бумаги и обмена телексами с иммиграционным центром в Буффало, штат Нью-Йорк, мне должны были возобновить утерянное удостоверение. Я стал ходить в консульство, как на работу, то с заявлением, то с фотографиями, то за удостоверением, выдача которого все затягивалась из-за выходных дней и восьмичасовой разницы во времени.

Когда я шел в консульство в последний раз, мне уже был знаком там каждый закоулок. Взбежав на второй этаж и направившись к отделу виз мимо целых эмигрантских семей, в многодневном ожидании расположившихся прямо на полу, я услышал за собой завистливый шепот:

— Смари, се такие выссокие, увверенные...

10

В 1984 году, во время пастернаковской конференции в Иерусалиме, однажды вечером мы с Игорем Смирновым и Ренатой¹ отправились в город, предупредив (как нам было строго наказано устроителями) охрану, когда мы вернемся и через какие ворота. Кампус Еврейского университета на Маунт-Скопус был огорожен со всех сторон, наглухо запирался и представлял собой как бы неприступную крепость.

Часа в два ночи мы в самом веселом расположении духа подъехали на такси к условленному входу, но он оказался закрыт.

¹ Рената Дёринг (Döring) — филолог, тогдашняя жена И. П. Смирнова.

Мы позвонили в условленный звонок, подождали, позвонили еще раз — безрезультатно. Ситуация складывалась неприятная. Мобильников тогда еще не изобрели, наружные телефоны отсутствовали, вокруг было пусто и темно.

Вдруг вдаль засветились фары, и к нам подъехал джип с солдатами, к счастью не палестинцами, но как будто и не израильскими. Это были друзья, едва говорившие по-английски. Они несли какую-то свою особую патрульную службу. Взять нас с собой куда-нибудь в штаб, чтобы мы оттуда могли позвонить на кампус, они отказались и, подальше от греха, уехали.

Надеяться на постороннюю помощь явно не приходилось. Игорь с Ренатой пошли вдоль стены искать другого входа, а я, обзлившись не на шутку, спяну вскарабкался на стену, перелез через нее, нашел, уже на той стороне, незапертую дверь, спустился к караулке и устроил показательный скандал охранникам, которые спокойно спали, забыв, что обещали нас дожидаться. Они зашевелились, открыли ворота, впустили Игоря и Ренату. Появилось начальство, и пошли серьезные разборки. Стена и тут оказалась гнилая.

Утром меня порадовали сообщением, что все мои расходы по пребыванию в Израиле будут оплачены полностью.

11

Своеобразный личный рекорд по пересечению границ я установил во время одного из своих первых европейских автопробегов в амплу американца, разъезжающего на прокатной машине. Погостив у знакомых в Генуе, мы с Ольгой¹ направлялись в Барселону, где должны были остановиться у одного реэмигранта из СССР, потомка испанских коммунистов, с которым нас заочно свел Мельчук. (Он оказался племянником Рамона Меркадера, убийцы Троцкого, поклонником Франко и симпатичным парнем.)

Ольга, выросшая в Калифорнии за рулем, в общем, уже смирилась с моим неумным желанием новичка-автомобилиста осуществить наконец хрупкую мечту детства, однако, услышав, что

¹ Ольга Матич (Matich), американский филолог.

я хочу добраться до Барселоны одним броском, пыталась воспротивиться. Но мы таки выехали в 9 утра и приехали в 9 вечера, ни разу не ступив на землю Франции (буфеты с капучино и туалеты есть на станциях обслуживания, гигантскими мостами высящихся над автострадой). К сожалению, Барселону я видел как в тумане, сквозь внезапный приступ гриппа. Но потом, недельку отдохнув на Коста-Брава, мы махнули в Гранаду, тоже марш-броском, причем ночным. Сноб-англичанин на пляже в Тамариу говорил нам, что так путешествовать is uncivilized, но, не читавши «Золотого теленка», что он мог понимать в автопробеге?!

12

Закончу на современной ноте. После двух семестров в нашем университете по фулбрайтовской стипендии Лада¹ должна была, согласно американским правилам, два года в Штатах проотсутствовать. (Жестокие, сударь, нравы в нашем городе!) Тогда мы решили, что она приедет в Мексику, поближе к калифорнийской границе, в район Тихуаны. В московском турагентстве она купила мексиканскую визу и билет, но не до Тихуаны, а до Мехико, — ей объяснили, что там билет в Тихуану будет стоить дешевле. Под Тихуаной, в облюбованном американцами пляжном местечке Пуэрто-Нуэво, мы по Интернету и телефону сняли симпатичный домик на огороженной и охраняемой территории.

Все шло по плану, пока в аэропорту Тихуаны Ладу не задержали. Оказалось, что действие ее визы не распространяется на приграничную с США зону — в силу особой оговорки, касающейся граждан (а тем более гражданок) несолидных стран. В турагентстве это, конечно, знали, почему и продали билет только до Мехико.

Проблема была решена довольно быстро. По совету хозяина, сдавшего нам домик, Лада, знающая испанский, с ноутбуком в руках объяснила чиновникам, что она — científica («ученая»), пишущая книгу о Мексике (а не, подразумевалось, представительница более древней профессии), и ее отпустили в город на поруки нашему хозяину. А наутро он связал нас с неким вла-

¹ Л. Г. Панова, филолог, моя жена.

дельцем переводческой фирмы, который за 300 долларов взялся уладить дело с полицией. Полиция разрешила остаться под Ти-хуаной, но какую-либо официальную бумагу выдать отказалась.

Я ездил в Пуэрто-Нуэво на долгие уик-энды. Въезд в Мексику из США свободный, и единственное, что тревожило меня, — это часовая поездка от границы до места. Но оказалось, что все давно продумано: есть специальная страховка на машину, действующая в пределах сотни миль, освоенных американцами, и по этой территории проложено специальное платное шоссе, просторное, чистое и безопасное.

Важно было не сбиться с шоссе, чтобы не оказаться в Мексике как таковой. Ни на минуту не позволяя себе забыть об этом, я оценил образ Тропы, с которой в знаменитом рассказе Брэдбери не должен сойти отправившийся в прошлое охотник на динозавров... (Брэдбери, кстати, еще недавно был жив и появлялся на ежегодных книжных ярмарках в нашем Городе ангелов.)

Дорога обратно отличалась только тем, что на границе приходилось ждать — когда минут 15, а когда и час. Пускали с разбором — желающих было слишком много. («Как все греки, король хотел в Америку», — заключает молодой Хемингуэй свое интервью с королем Греции.)

С историей накоротке

1. «Вы и убили-с...»

Все знают, как во время показательной встречи с английскими студентами в мае 1954 года на вопрос об отношении к «ждановскому» постановлению 1946 года его герои ответили по-разному. Зощенко сказал, что не согласился и писал об этом Сталину, а Ахматова — что считает постановление правильным. (Зощенко потом острил: «Эх! — обошла меня старуха!.. Столько лет шли ноздря в ноздю!..») Но никогда не упоминается, кто именно задал роковой вопрос, хотя Ахматову это заинтересовало еще до того, как он прозвучал. («Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который спросит? но угадать не могу», — рассказывала она Чуковской.)

Мне случайно удалось вычислить имя неведомого вопрошателя.

От одной очаровательной английской коллеги я узнал, что ее бывший муж, известный историк, входил в состав той студенческой делегации, причем был в ней единственным русистом. Предположив, что ему-то и принадлежал провокационный вопрос, я узнал его адрес у другой английской коллеги и, набравшись наглости, написал ему с просьбой рассказать, как все было, и, если не трудно, прислать то, что у него наверняка опубликовано на эту тему.

Ответ пришел по электронной почте — вежливо-уклончивый. Да, это был он, и он даже потом напечатал что-то в университетской газете, однако экземпляр затерялся, если найдет, сообщит. Больше писем от него не было.

Бросалась в глаза ирония сюжета с историком, которому довелось-таки сыграть роль в истории, но который легкомысленно упускал возможность занести ее на исторические скрижали. Не исключено, однако, что сыгранной роли он стыдился и был рад вытеснить ее из памяти — своей, а заодно и человечества.

Хорош и я. Ответа я не распечатал, выходных данных многотиражки не списал, а электронную почту у меня вскоре сменили, так что ценный документ стерся и из компьютерной памяти — вроде бы без особых к тому фрейдистских причин, а так, по лени, нелюбопытству и общей брэнности всего земного, в том числе электронного. Впрочем, кроме самих героев и гонителей, все живы: вопрошатель, обе коллеги и аз грешный. Так что история продолжается, и фамилию пока вытесняю¹.

2. Чапаев и пустота

Безымянный участник реальных событий, каким хотел остаться мой англичанин, — лакомый кусок для исторических романистов, виртуальный Гринев.

¹ Написано в начале 2000-х гг. На сегодня (апрель 2016 г.) дамы, Энн Шукман и Энджела Ливингстоун, здравствуют, но главный герой виньетки, видный английский историк России и переводчик русской литературы Хэрولد Шукман, умер (Harold Shukman, 1931–2012; <http://www.theguardian.com/education/2012/aug/20/harold-shukman>).

В воспоминаниях А. Л. Пастернака есть эпизод из берлинской жизни шестнадцатилетнего Бориса (1906):

«[Б]рат... страдал от предполагаемого к нам презрения — которого, кстати сказать, вовсе и не было — и снисходящей терпимости к неполноценным чужакам... Он поставил себе... задачей добиться полной идентичности с немцами, с... особым жаргоном... истых берлинцев... На наше ухо... он добился очень многого...

Раннее утро... Приближавшийся к нам мальчик... насвистывал что-то бодрое и веселое... Мой брат... машинально... но сверху вниз, как старший, похвалил — истинно берлинским манером... „Здорово ты свистишь!“ — но покровительственный тон старшего... учуянный мальчишкой, или не совсем берлинский лад и акцент, и желание изобразить берлинца, вызвали в этом гамэне Берлина реакцию неожиданную и быструю: среди общей тишины особенно вызывающе резко и кратко прозвучало: „Besser wie du!“ [что-то вроде „Получше тваво!“, то есть не совсем правильно по-немецки, но типично по-берлински. — А. Ж.] Прежде чем брат пришел в себя, гордого победой мальчишки и след простыл...

Полное затмение солнца было бы все же светлее, чем внезапно погрузившееся для брата в полный мрак солнечное утро. Он смолчал и молча шагал дальше... С этого утра брат — как с ним всегда в таких случаях бывало — сразу перестал берлинничать».

Очередное свидетельство настойчивого пастернаковского ассимиляционизма (этнического, политического, религиозного, литературного) любопытно тем, что открывает богатые сюжетные перспективы. Хотя брат-мемуарист — и тоже ассимилянт — старательно обходит еврейские обертоны эпизода, в свете последующей истории немецкого антисемитизма они напрашиваются. Если же учесть, что родители и сестры А. Л. и Б. Л. после революции уехали в Германию, откуда были вынуждены эмигрировать еще раз, в Англию, то анонимная фигура берлинского гамэна обретает неодолимую притягательность желанной лакуны. Какой простор для повествовательных эффектов!

Берлинский «гамэн» моложе Пастернака и, значит, Гитлера (р. 1889) на несколько лет, но явно успеваает на Первую мировую,

сближается там с будущим фюрером, в 1920-е годы встречается с семейством Л. О. Пастернака и с гостящими Евгенией Владимировной и маленьким Женей, ухаживает за ней (некий немецкий поклонник фигурирует в переписке Б. Л. и Е. В.), затем, уже нацистским генералом и членом нераскрытого антигитлеровского заговора, оккупирует Одессу, где обнаруживает происхождение всего клана Пастернаков от романа Пушкина с кишиневской «Ревеккой», а также собственные семитские корни; после войны он à la Евграф способствует публикации «Доктора Живаго», съемкам фильма и присуждению Нобелевки...

Или наоборот, он попадает на Восточном фронте в плен, встречается в лагере с Ариадной Эфрон (Ольгой Ивинской? Варламом Шаламовым?), которая читает ему письма Пастернака, когда внезапно его вызывает к себе Сталин, задумавший наладить через него контакт с Гитлером, и они говорят о Гёте, Пастернаке, Мандельштаме и смысле жизни; наступает оттепель, потом нобелевская травля, берлинец уже из ФРГ приезжает в Переделкино, и спустя полстолетия происходит наконец настоящее знакомство и узнавание, а двумя годами позже, на похоронах у трех сосен в Переделкине, немец декламирует пастернаковский перевод из Рильке...

Mutatis mutandis та же вальтер-скоттовская, а то и пелевинская техника вскоре станет применима к пожелавшему остаться неизвестным погубителю Зоценко. Тогда, кстати, к английским студентам можно будет как-нибудь подключить и берлинца, скажем, в качестве руководителя их делегации — кембриджского профессора сравнительного литературоведения и заодно агента «Интеллидженс сервис».

Скупая правда интересней, да и нужнее людям, но сложное понятней им. Коллективная память не терпит рядом с Чапаевыми пустоты — разве что с большой буквы.

Faux pas

Будучи эгоцентричен и неважно воспитан, я часто веду себя бестактно, обижаю, кого не хотел бы, и постоянно врежу себе в глазах окружающих. Полная исповедь на эту тему заняла бы

много места, вызвала бы новые обиды, да и мне морально не под силу. Но один эпизод попробую рассказать.

Это было в первые год-полтора моей американской жизни, когда я много ездил с докладами — людей посмотреть и себя показать. На лекцию в одном престижном университете коллеги-слависты собрали мне внушительную аудиторию, включая видных специалистов из смежных областей — лингвистики, киноведения, теории литературы. С некоторыми из них я познакомился на ланче перед лекцией, в том числе с одной молодой, но уже знаменитой дамой, автором новаторской книги, которую она мне тут же подарила. Книжку я прочел позже, но на авторшу внимание обратил немедленно.

Бросался в глаза дефект ее внешности — кожа у нее на лице подверглась то ли ожогу, то ли какой-то неудачной операции, в результате чего была красной, шершавой и стянутой вбок, так что один глаз сидел криво. Но все это с лихвой компенсировалось подвижной фигурой и живой манерой держаться. Словом, она мне сразу понравилась, и я, со своей стороны, постарался понравиться ей — как мне показалось, не без успеха.

Ошибки такого рода достаточно часты ввиду привычной самоуверенности российских мужчин и привычной же любезности американок. А в данном случае ситуация усугублялась очевидным, на мой российский взгляд, неравенством сил, почти однозначно отдававшим подпорченный товар в распоряжение первого встречного. В то же время вызывающая — как бы бесстыдно обнаженная — краснота ее лица воспаляла воображение, создавая взрывчатую комбинацию повышенной желанности с повышенной доступностью.

Возможно, что во время ланча она вежливо предупредила меня, что у нее много других дел и она не сможет дослушать меня до конца, — не помню. Наверно, я отмахнулся от этого и нахально настаивал — и думал, что настоял, — на противном. Так или иначе, когда в середине доклада она встала с места и направилась к выходу (вещь в Америке нормальная), для меня это было неожиданностью. Не переставая говорить, я пошел ей наперерез (ужас!) и, когда наши пути пересеклись, стал на глазах у всех уговаривать ее остаться (что недопустимо ни при каких обстоя-

тельстввах!!), а в крайнем случае увидеться позднее (дальше некуда!!!). Отказ был, разумеется, полный.

Я продолжил доклад, который вызвал вполне оживленную дискуссию. Ни тогда, ни после никто мне ничего не сказал, и с кафедрой этого университета у меня еще долго сохранялись хорошие отношения. Вообще говоря, нескольких таких ложных шагов по университетскому паркету достаточно, чтобы навсегда погубить академическую репутацию. Случилось ли это в данном случае, не знаю. Может быть, мне сделали скидку на загадочность русской души...

Торонто-80, или В людях

Осенью 1980 года по приглашению чешского эмигранта-структуралиста Любомира Долежела я поехал с лекциями в Торонто. Чехи, бежавшие в Америку кто в 1938-м (как мой корнелльский завкафедрой Джордж Гибиан), кто в 1968-м (как Долежел), занимали видное положение в американской славистике; принято было даже говорить о «чешской мафии». «Да какая там мафия, — сказал я мичиганскому заву Ладиславу Матейке, — так, мафийка, русские евреи вам еще покажут». Долежел тоже заведовал кафедрой и вообще был очень активен. В поэтике он занимался применением понятия возможных миров к теории повествования.

Возможные миры меня не увлекали, но приглашение было лестно — как само по себе, так и потому, что повышало мою *visibility* (известность, *букв.*: «видимость») и, значит, шансы на постоянную должность.

Долежел принял во мне горячее участие. Один доклад я прочел, естественно, у него на кафедре, но фонды у славистов были, как водится, ограниченные, и он устроил мне еще и публичную лекцию, вне славяно-структурно-семиотического гетто, с солидным гонораром, до сих пор помню, в 500 долларов, правда канадских.

Лекция состоялась в красивейшем готическом Тринити-колледже, в огромном, с высокими потолками зале на несколько

сот мест, которые оказались заполнены. Для таких случаев у меня имелась работа о каламбуре Бертрана Рассела *Many people would sooner die than think. In fact, they do* («Многие люди скорее умрут, чем станут думать. Собственно, так они и делают»). Доклад, возможно благодаря щедро приводившимся остроумам Рассела и других авторов, публике понравился. В прениях на сцену поднялся самый знаменитый канадец русского происхождения George Ignatieff, одно время представитель Канады в ООН (член разветвленного клана Игнатьевых, среди которых был и царский, а потом советский, генерал, автор книги «Пятьдесят лет в строю»). Дипломат не посрамил своей репутации и произнес небольшое похвальное слово — несомненный шедевр жанра.

Он сказал, что из всех собравшихся он, по-видимому, единственный имел честь слушать как профессора Жолковского, так и профессора Рассела (кстати, учившегося, а потом преподававшего в Кембридже тоже в Тринити-колледже), и рад засвидетельствовать адекватность разбора, основанную на сходном складе ума этих двух ученых. О скандалах, сопровождавших пребывание Рассела в Америке (1938–1944), он дипломатично умолчал.

Хотя в докладе пацифистский имидж философа деконструировался — выявлялась убийственная, в буквальном смысле слова, подоплека его рационализма, — Рассела я люблю. Его «История западной философии» стала моей настольной книгой еще в те времена, когда мы читали ее под полусекретным грифом *Для научных библиотек*. В его эссе «О скрытых мотивах философии» я вижу блестящий образец тогда никому еще неизвестной деконструкции. А из его автобиографии не могу забыть фразу, венчающую описание первого научного успеха. Молодому Расселу вдруг приходит приглашение выступить на заседании Французского математического общества; он счастлив, едет в Париж, прибывает в указанное место и обнаруживает, что это небольшая комната, где вокруг стола сидят человек десять. «Observing their noses, I realized they were all Jews» («Обозрев их носы, я понял, что все они были евреями»). Из-за железного занавеса отличия французских носов от семитских виделись нам не столь отчетливо (имел хождение даже эвфемизм «французы»), но для Рассела это был явно не бином Ньютона.

В мою честь устраивались приемы. После университетского доклада — у Долежела, дом которого поразил меня своей роскошью; после публичной лекции — в ресторане, где я основательно напился. А как-то днем коллеги повели меня в модное кафе, и я не мог отделаться от странного ощущения, что место мне знакомо, пока не сообразил, что на гигантской фотографии во всю стену напротив (новаторская тогда техника оформления интерьеров) был воспроизведен кусок улицы Ньюхавн в Копенгагене, на которой я останавливался за год до этого.

Моим последним днем в Торонто была суббота, когда докладов не бывает, но заботливый Долежел спланировал мой визит таким образом, что как раз на эту субботу приходилось ежемесячное утреннее заседание возглавляемого им Торонтского семиотического кружка, готового оплатить мое выступление в скромном размере, не помню, пятидесяти, а может, и двадцати пяти канадских долларов. Я признался Долежелу, что третьего доклада у меня с собой нет, но он успокоил меня, сказав, что достаточно просто рассказать о трудах и днях советских семиотиков. По эмигрантскому безденежью, из благодарности к Долежелу и ради вящей славы московско-тартуской школы я согласился.

Выступление состоялось в одной из небольших аудиторий по-субботному пустого здания перед пятью-шестью слушателями. Долежел пышно представил меня, после чего я набросал как мог творческие портреты Лотмана, Иванова, Топорова и Ко. Когда я позвонил домой в Итаку и сообщил про незапланированную лекцию, Таня спросила, о чем же я говорил. «Об усах Лотмана», — сказал я.

В дальнейшем этот жанр так у нас и назывался.

Кстати, усы у Лотмана были нееврейские — какие-то казачки.

Южный акцент

В начале 1980-х годов я несколько лет подряд ездил на конференции Американского семиотического общества, где, в частности, познакомился с очень занимавшим меня тогда Майклом

Риффатерром. Одна из этих конференций проходила под Солт-Лейк-Сити, на территории пустовавшего в несезон лыжного курорта.

Мормонский штат Юта известен среди прочего своим сухим законом. Практически это значит, что при входе в ресторан, тут же рядом с вешалкой, предлагается вступить в клуб любителей вина, каковым позволяется купить в окошечке этого мифического клуба желаемую бутылку, поставить ее себе на стол и, заплатив официантке несколько долларов за corkage (извлечение пробки), распить ее себе на здоровье, как и не в штате Юта.

Все это мы (я и несколько коллег, среди которых помню покойного Франтишка Галана) проделали с должным семиотическим интересом, а когда вино стало оказывать действие, простерли этот интерес и далее, пригласив танцевать местных девушек.

Танцуем, разговариваем.

— You talk different («Вы говорите иначе»), — отмечает моя партнерша.

— I do («Да»).

— You are not from here («Вы не здешний»).

— No («Нет»).

— You must be from Southern Utah («Вы, должно быть, из Южной Юты»).

Это был первый и последний раз, когда в Америке меня приняли за американца.

Заметки феноменолога

В мою краткую бытность профессором и завкафедрой в Корнелле (1980–1983) мне довелось познакомиться с Полем де Маном. Он был в зените славы и в Корнелл приехал прочесть интенсивный, престижный и высокооплачиваемый курс публичных лекций (Messenger Lectures) по эстетике. Лекции читались во второй половине дня, длились, вопреки американским традициям, по три часа и более, не считая вопросов и ответов, и собирали огромную аудиторию — до ста и более студентов, аспирантов и профессоров, в основном, конечно, гуманитариев.

Мне, с моими структурными установками и советскими проблемами в образовании, было трудноато следить за ходом его рассуждений. Я добросовестно слушал и как мог осмысливал услышанное. (Помогал роднящий структурализм с деконструкцией скепсис по поводу любых идеологий, так же поддающихся формальному исчислению, как и риторический репертуар литературы.) К концу второй лекции я даже наскреб некоторое количество недоумений, которых могло бы хватить на каверзный вопрос, но вылезать с этим на публику не решился, боясь попасть впросак с произнесением фамилии Канта. (После лекции я спросил Джорджа Гибиана, как он, для которого английский язык тоже не родной, обеспечивает фонетическое противопоставление Kant/cunt. Он ответил: «I don't. I rub their noses right into it». Каламбур непереводимый, но, надеюсь, понятный.)

В следующий раз я все-таки собрался с духом и заветный вопрос задал. Ни своего вопроса, ни тем более полученного ответа я не помню, но никогда не забуду формата, в котором была выдержана ответная реплика де Мана.

— Так, — сказал он, выслушав меня. — Вы... феноменолог. Следовательно, ответ должен выглядеть следующим образом...

Надо сказать, что, аттестовав меня как феноменолога, де Ман несколько завысил мою скромную философскую квалификацию (правда, не без оснований — ввиду нашего со Щегловым упора на инварианты поэтических миров), и я некоторое время ходил гордый производством в следующий гуманитарный чин.

Так или иначе, шпаги были скрещены, знакомство состоялось. Оно продолжилось, когда, благодаря моим связям с корнелльскими постструктуралистами (Джонатаном Каллером, Филом Льюисом, Ричардом Клайном), под чьей эгидой проходил визит де Мана, я общнулся с ним еще раз. Он посетил меня в моем огромном кабинете, и мы около часа беседовали о проблемах как литературной теории, так и аккультурации иностранных гуманитариев в Штатах (де Ман — бельгиец).

Это было незадолго до его смерти (и последовавших вскоре разоблачений его сотрудничества в профашистской прессе во времена оккупации). У него было желтое лицо и деликатные манеры усталого человека. С отеческой заботливостью он заверил

меня, что пяти лет мне хватит на то, чтобы полностью освоиться в новой среде и почувствовать себя в американской славистике как дома. Вообще, ничего, так сказать, деконструктивного в его личности и обращении заметно не было.

Зато релятивизм его формулы я взял на вооружение. Я даже пытался завербовать в ее адепты Мельчука, но тут коса нашла на подлинно структуралистский камень: Игорь кривился при одной мысли, что правильных ответов может быть более одного.

Кому кабельность, а кому некабельность

В Корнелле я вел интенсивную академическую жизнь, посещал многочисленные общественные мероприятия и parties, «всех» знал и достиг высокого уровня visibility. В дальнейшем, при переходе в Университет Южной Калифорнии, я полностью отказался от этой стороны своего имиджа и даже честно предупредил своих нанимателей, что второй раз театрализовать себя таким образом не намерен, имея в виду попросту «отоварить» (cash in) уже имеющуюся репутацию: Корнелла — как более классного, Ivy League, университета и собственную — как его авантажного представителя.

Кампусные университеты (каковым является Корнелл) часто сочетают варку в собственном соку (добрая половина населения Итаки — студенты, профессора и иные сотрудники и деловые партнеры университета) с истерической нацеленностью на контакты с внешним миром (командировки, прием знатных иностранцев, устройство конференций и т. д.). Активная светская жизнь в таком университете имеет свои преимущества. В Корнелле я за короткое время познакомился с Дерридой, Полем де Маном и Дмитрием Набоковым, слушал Башевиса Зингера и Борхеса, встретил своих давних знакомых Эко и Лимонова, подружился с лауреатом Нобелевской премии по химии — любителем русской литературы и сам чуть было не стал телевизионной персонэлитой.

Своеобразным проявлением корнелльской смеси престижности с клаустрофобией стала введенная на моей памяти программа Professors at Large. Знаменитость в той или иной обла-

сти культуры за огромные деньги приглашалась в Корнелл на одну-две недели, в течение которых выступала с публичной лекцией, проводила специальный семинар, встречалась со студентами и коллегами и, разумеется, включалась в светскую жизнь, ежевечерне подвергаясь операции *wine and dine*. В году восемьдесят, если не ошибаюсь, втором в роли такого «вольного профессора» Корнелл посетил Микеланджело Антониони.

Он тогда только что снял свой новаторский в плане использования цвета фильм «Тайна Обервальда» (1980), который и привез показать. Фильма я скорее не понял (а из его отсутствия в новейших американских справочниках по видео явствует, что он так и не получил коммерческого признания), но это несколько не уменьшило моего почтения к создателю «Blowup»'а и «Пассажира» (он же «Профессия: репортер»). И конечно, я был польщен приглашением на обед в честь Антониони в доме у руководителя программы *Professors at Large*, видного корнелльского физика Виная Амбегаокара, представительного красавца-индуса.

Антониони, которому тогда было 70 лет, оказался изящным седым джентльменом, державшимся со скромным достоинством, без какого-либо киношного или итальянского апломба. Это не значит, что он молчал и стеснялся. Начал он с того, что тихим голосом, но вполне по-светски, на уверенном английском спросил:

— So, you all teach? («Значит, вы все преподаете?»)

За столом сидело человек десять профессоров с разных кафедр, так что утвердительный ответ подразумевался. Гости закивали, ожидая продолжения, которое не замедлило последовать, опять-таки очень любезное, но содержавшее уже некоторый вызов:

— Как это вам удастся? Я бы не мог.

Следует сказать, что английское «teach» совмещает значения бюрократически отчужденного русского «преподавать» и житейски непосредственного «учить», и Антониони явно имел в виду второе. В ответ посыпались резонные объяснения — каждый отрекомендовался профессором, преподающим определенные знания и умения и не усматривающим в подобном занятии почвы для экзистенциального беспокойства. Но Антониони оста-

вался при своем недоумении относительно возможности — по крайней мере, для него самого — учить кого-либо чему-либо. Во мне, находившемся еще в своем воинствующе-структуралистском периоде, его слова задели полемическую струну, и я решил перенести бой на его территорию.

— Но предположим, у вас есть ученик, почитатель, который хочет у вас поучиться и спрашивает совет, как снимать?

— Что же я ему посоветую? Ведь это его фильм, а не мой.

— Но, допустим (тут я мысленно призвал себе на помощь дух Эйзенштейна — профессора ВГИКа), он спрашивает вас конкретно, с какой точки — сверху или снизу — ему лучше снимать сцену, замысел которой он вам тут же объясняет? Неужели вы не подскажете ему, как лучше поставить камеру?

— Как я могу что-то сказать? Это его фильм, его жизнь...

Разговор продолжался еще некоторое время, но Антониони в полной мере оправдал свое реноме апостола некоммуникабельности. Свое «не» он отстаивал ненавязчиво, но непреклонно.

Потерпев таким образом полное поражение — и впервые, может быть, почувствовав серьезность дотоле совершенно чуждой мне позиции, — я попытался взять реванш на другом участке. По поводу всем памятного вентилятора в комнате с трупом из фильма «Профессия: репортер» я спросил, нельзя ли понять его как вариацию на отмеченный многими кинокритиками мотив ветра, шевелящего деревья или траву в каждом из его фильмов, — как своего рода «ветер в помещении».

— Вы, наверно, никогда не бывали в пустыне, где это снималось. Без вентилятора там просто невозможно находиться.

Чему другому, а некоммуникабельности у него поучиться было можно.

Обед был долгий, сначала все сидели за столом, потом беседовали за кофе в гостиной и прогуливаясь по веранде, опоясывавшей весь дом, расположенный в живописном ущелье. (Известная корнелльская формула гласит: «Ithaca is gorges» — каламбур на *gorge*, «ущелье», и *gorgeous*, «великолепный».) Помню, как разговаривал с ним на этой веранде, наслаждаясь красотой антуража, неброской харизмой моего собеседника и, конечно, сознанием причастности к моменту.

Последнее обострялось одной деталью события, выше пропущенной. В тот день к нам приехал погостить Саша Соколов, двумя романами которого я восхищался (это было до еще более блистательной «Палисандрии») и с которым познакомился во время его выступления в Корнелле. Я сразу загорелся идеей свести Соколова с Антониони и, набравшись наглости, позвонил к Амбегаокарам. Они, однако, отнеслись к предложению привести Сашу прохладно, указав на очевидное и с американской точки зрения совершенно беспардонное short notice. Мои настояния, подкрепляемые заверениями о Шашином величии, они отвели ссылкой на ограниченное число мест за столом. Таня предложила было остаться дома, уступив свой прибор Саше, но это уже пахло Достоевским, и мы отступились.

Так не состоялся еще один потенциальный акт некоммуникации. А было бы интересно при нем присутствовать. Саша ведь тоже не умеет преподавать, изъясняется на серьезные темы в основном письменно и в некой палисандровой маске, а последние лет десять вообще молчит, скрывается и таит. Хочется думать, что они поняли бы друг друга без слов, для чего, впрочем, не нужно встречаться. К этому в конце концов пришел и я — уже после Корнеллы.

Безнадега

Свою работу в Корнелле я начал (1980) на птичьих правах. Сначала — в престижной, но очень временной роли стипендиата Общества гуманитарных наук (Society for the Humanities), затем — во временной же должности на русской кафедре, замещающая ушедшего в отпуск преподавателя. Превращение этих внештатных позиций в постоянную профессорскую ставку (tenure) было делом непростым, при всем расположении ко мне декана колледжа Алена Сезнека (Alain Seznec), заведующего кафедрой русской литературы Джорджа Гибиана (Gibian) и других коллег. Впрочем, я был полон оптимизма, подкреплявшегося по-русски гипертрофированным представлением о собственной ценности, и увлечен перспективой проведения семинара по все еще

полузапретному на родине Пастернаку. Советские цепи были мною успешно потеряны, наступала очередь обретения всего мира. На этом фоне американская озабоченность получением tenure казалась мне удручающе мелкой. (Не забуду слов одного корнелльского коллеги: «Вот решается мое продвижение из доцентов в профессора [from Associate to Full Professorship]. Если повысят — ну что ж, так и надо, но если НЕ повысят — какое унижение!» Повысили.)

Джордж меня, кажется, понимал, но не упускал из виду и административного аспекта моих первых шагов. Он заботливо справлялся о том, как идет семинар, кто его посещает, доволен ли я, довольны ли слушатели. Я рапортовал, что слушателей много (9?): практически все аспиранты русской кафедры плюс один очень сильный студент выпускного курса (senior), да еще два профессора: один — англичанин с английской кафедры, а другой — какой-то технарь. Англист русского языка не знает, но вместе с коллегой-русистом переводит стихи Пастернака и в семинаре очень активен.

— Это, наверно, Джон Столворти (John Stallworthy), — угадал Джордж. — Он известный поэт и уважаемый профессор. Надо будет, чтобы он написал официальный отзыв о семинаре.

— Я думаю, он охотно напишет. Он симпатичный, мы часто ходим вместе на ланч в «Стэттлер Инн», и он консультируется со мной по поводу своих переводов. Ему очень хочется выпрямить Пастернака, ибо «по-английски так сказать нельзя», а я все твержу ему, что в том-то и фокус, что по-русски так тоже нельзя.

(Книжка переводов вышла в 1983 году: Boris Pasternak. Selected Poems. Trans. Peter France and John Stallworthy; наши беседы помянуты там добрым словом.)

— А кто этот профессор с технического факультета?

— Точно не знаю. Такой незаметный, маленький. Он подошел ко мне перед началом, представился на ломаном русском языке и попросил разрешения ходить. Но умный — соображает неплохо...

— Узнайте фамилию. Надо будет и у него взять отзыв.

После очередного занятия я, извинившись, переспросил имя, фамилию и профессию «технаря» и затем доложил Джорджу:

— Он химик. Его фамилия Хофман (Hoffmann).

— Хофман? Неужели РОАЛЬД Хофман?!

— Да-да, Роальд, я еще подумал — одно из викингских имен, захваченных евреями: Гарольд Блум, Роальд Хофман.

— О, это выдающийся ученый. И он очень любит помогать диссидентам.

— Да, он сказал, что он из Польши. Кстати, он лучше всех в классе понимает мои структурные схемы, иногда и меня поправляет.

— Его отзыв был бы очень кстати.

С Роальдом Хофманом мы подружились. Его интересы далеко не ограничивались химией. Пользуясь возможностями, предоставляемыми университетом, и своим знанием нескольких европейских языков, он иногда «брал» тот или иной гуманитарный курс. Так, на следующий год после Пастернака он посещал семинар по «Фаусту» у видного корнелльского гётеведа Блэкуэлла.

Между тем сбор бумаг шел своим чередом, и вскоре под чутким руководством Джорджа, а также благодаря собранным мной приглашениям на работу в другие университеты (доказательствам моей конкурентоспособности), заветная tenure была получена, а в придачу к ней еще и должность заведующего довольно склочной кафедрой.

Но не об этом речь. Однажды в неурочное время меня вызвали на кампус. Машину я тогда еще не водил и потому спросил, насколько это срочно.

— Приезжайте скорей. Роальд Хофман получил Нобелевскую премию!

Я вскочил на велосипед и к Бейкер лэб — зданию химического факультета — подъехал уже с готовой поздравительной формулой.

Огромный зал был полон. Сверкали юпитеры — снимали для телевидения. Была расстелена красная дорожка. Среди группы деканов и другого начальства выделялся тучный седой старик, физик-атомщик Ганс Бете (Hans Bethe), до тех пор единственный корнелльский нобелевец. Откуда-то издалека (из Австралии?) были привезены сестра и мать Роальда. Сам он стоял посередине всего этого гала-спектакля и, смущенно улыбаясь, принимал поздравления. Премию он получил вместе с каким-то

японцем, но пополам делилась лишь сумма, лауреатом же он был полным. Подошла моя очередь.

— Роальд, я поздравляю вас, а главное — себя, ибо теперь я всегда смогу говорить, что преподавал (*taught*, *букв.*: «обучал») одного нобелевского лауреата другому.

Наша дружба на этом не прекратилась — Роальд не загордился. А во время одной из поездок в Москву (еще до перестройки) он даже отвез что-то моему папе, порадовав его высоким уровнем моих знакомств, но и встревожив сообщением, что внизу его ждет черная «Волга».

Продолжалось наше общение и после моего переезда в Лос-Анджелес. Джордж и некоторые другие коллеги жалели о моем отъезде; кое-кто, насколько я понимаю, даже обиделся. А Роальд в книжке стихов, изданной после получения премии, обратил ко мне целый стихотворный призыв вернуться из пошловато-солнечной Калифорнии «домой» в Итаку.

Я не вернулся, но во время своих визитов в Южную Калифорнию Роальд звонил, мы встречались, он приходил к нам с Ольгой на parties... Кроме того, он присылал свои статьи, то самостоятельные, то соавторские, на темы, пограничные с химией, Талмудом и культурологией. И — напряженно ожидал их обсуждения. Я как мог проявлял интерес, похваливал, но явно недостаточно. Я вчуже понимал его, ибо и сам жажду внимания к своим работам. Однако в человеке, достигшем, казалось бы, уже всего, такая неутоленная потребность в одобрении поражала и настораживала.

После его очередного визита в Санта-Монику с настойчивой демонстрацией очередного опуса до меня вдруг дошло.

— Надеяться абсолютно не на что, — сказал я Ольге. — Смотри, даже Нобелевка не помогает.

Профессиональная кухня

На заметный скачок в зарплате американский профессор может рассчитывать в основном в переходные моменты: при поступлении на работу, при повышении в ранге, при переходе из

одного университета в другой, а также при непереходе — в обмен на отказ от выгодного предложения со стороны, настоящего или умело разыгранного. Нормальные ежегодные прибавки, как правило, незначительны, зависят от экономического положения страны, штата и университета, иногда сводятся к поправке на инфляцию и в любом случае практически съедаются пропорциональным, а то и прогрессивным возрастанием налога. В эти рутинные периоды я надолго теряю интерес к происходящему, но на переломах мое внимание обостряется.

На Западе первый такой опыт был связан у меня с переездом из Голландии в Штаты. (Мотивы этого переезда — тема особая: я исходил из общей идеи, что эмигрировать нужно в страну эмигрантов — Америку.) В Амстердаме я получал солидную по тем временам зарплату, в Корнелле же мне предлагалась несколько меньшая, но зато престижная стипендия на полгода, а затем временная же и еще более скромная должность Assistant Professor'a с перспективами на повышение в будущем. Я написал устраивавшему все это завкафедрой русской литературы Джорджу Гиббиану, что получать немного меньше денег я некоторое время согласен, но начинать американскую академическую карьеру с ассистентской должности считаю неправильным. Он ответил, что разделяет мою самооценку, и мы сошлись на оформлении меня в качестве Visiting профессора. По приезде в Итаку превращение этой более звучной должности в постоянную и полную профессорскую потребовало некоторых усилий, в частности добывания конкурентных приглашений из других мест, но прочная основа была заложена именно такой чисто терминологической, казалось бы, работой с номенклатурной семантикой.

Переход из Корнеллы в USC — Университет Южной Калифорнии (происходивший по сугубо личным причинам) был сопряжен со значительным повышением зарплаты, необходимым ввиду большей дороговизны жизни и возможным благодаря более скромному рейтингу USC, вынужденного подкупать смаливаемых профессоров. Мне, однако, удалось внести в этот естественный ход событий оригинальную собственную ноту.

Перед показательным выступлением на кафедре меня повели на ланч в Faculty Center — профессорский клуб. Мне все было

внове, начиная с калифорнийского климата (была первая половина января, но градусник показывал 108° по Фаренгейту — почти 40° по Цельсию) и кончая общим видом и архитектурой кампуса и клуба. Я глазел по сторонам, рассеянно улыбался и как мог поддерживал беседу.

Вел ее декан Колледжа литературы, искусств и наук профессор сравнительного литературоведения Дэвид Мэлоун (ныне покойный). Усадив вокруг меня приглашенных на ланч ведущих коллег, он с предупредительностью гостеприимного хозяина-гурмана стал объяснять мне, что кухня у них в клубе преимущественно мексиканская — с тех пор, как в должность вступил новый шеф-повар.

— Ну как же, — включился я, — Оскар Мендоса.

— Так вы уже знаете? Каким образом?

— Ну, во-первых, я имею обыкновение быть хорошо информированным о том, с чем имею дело, — так, я знаю названия книг всех присутствующих. А во-вторых... я прочел его фамилию на медной дощечке, вывешенной в коридоре. Я бывший лингвист, и вообще у меня хорошая оперативная память.

Я был вознагражден общим смехом, однако для его перевода в долларový эквивалент потребовалось время, а главное — внимание.

Еда оказалась приличной, но не более того (я не был, да так и не стал любителем мексиканской кухни). Мое выступление прошло успешно, и я уехал; переговоры о приглашении на работу постепенно продвигались, предстояла решающая встреча с деканом. Он как раз объезжал восточные штаты и предложил заехать в Итаку, чтобы встретиться со мной. Я заказал ему номер в корнелльском «Стэттлер Инн» и обед на 6 часов вечера. Он должен был прилететь еще днем, но позвонил сказать, что из-за зимней непогоды рейс задержался.

Я пришел в ресторан вовремя, объяснил, что гость запаздывает, ходил справляться в администрацию отеля, но его все не было. В какой-то момент, кажется в девять, ресторан начинает закрываться, новых заказов уже не принимают, и я стал нервничать. Но где-то в половине девятого Мэлоун наконец появился, прямо с мороза, и рассказал, что самолет так и не вылетел, но он взял напрокат машину, несколько часов ехал сквозь пургу, и вот

он здесь. Я подозвал отчаявшегося было уже официанта, и мы стали заказывать.

Следует сказать, что Корнелл славится многими достижениями, но едва ли не более всего своим гостиничным факультетом (Hotel School), входящим в первую десятку в мире. А «Стэттлер» является для этого факультета своего рода опытной базой. Студенты, подрабатывая там, получают профессиональные навыки, аспиранты проходят практику, профессора руководят гастрономическими проектами. Поэтому молодой человек, подошедший принять у нас заказ, был не простым официантом, а аспирантом, работавшим над темой, которая была одновременно и темой ресторанного меню на этот вечер, а именно местной кухней какого-то южного штата в начале века.

Какого — не помню, но невозможно забыть того потрясающего совпадения, что это был тот самый штат и даже тот самый город, где родился мой будущий декан, человек, как мы помним, внимательный к вопросам кулинарии. Между ним и официантом завязалась эзотерическая беседа знатоков, и о близившемся закрытии ресторана было забыто. Выбор блюд продолжался невероятно долго, несколько раз уточнения вносил сам профессор — научный руководитель нашего официанта, дежуривший в этот вечер по ресторану. Заказанная еда тщательно готовилась, торжественно приносилась, детально дегустировалась и обсуждалась...

На разговоры о работе и зарплате времени практически не осталось. Декан назвал некую сумму, я потупился, он прибавил пять тысяч, я упомянул о калифорнийском real estate, он напомнил об итакских снегопадах, и тогда я зашел с козырной карты. Переведя взгляд со стола на аспиранта и профессора, я сказал:

— Но вы же видите, чего я лишаяюсь?! Это вам не Оскар Мендоса.

Он накинул еще пять, и я стал калифорнийцем.

Как я был Фрейдом

...Как-то давным-давно, в 1980-е годы, я попросил нашу безотказную секретаршу Сюзан Кечекян сделать ксерокопии, но наткнулся на хмурое сопротивление. Отводя глаза, она стала го-

ворить, что ксерокс не в порядке, что им злоупотребляют, и вообще она не знает, как будет дальше. Я немедленно ретировался, а дома доложил Ольге, что с Сюзан неладно — такой я ее еще не видел. Ольга как будто ждала этого — да, она заметила, что Сюзан недовольна, это, конечно, потому, что ей платят недостаточно, но сделать ничего нельзя, она пробовала, говорила с деканом, платят по максимальной ставке, и теперь Сюзан, наверно, уйдет, а без нее она будет как без рук и откажется заведовать.

Дело принимало нештучный оборот — рушился весь мой служебный уют. Надо было действовать. Я мобилизовал свои интеллектуальные ресурсы и следующим утром приехал на кампус с готовым решением.

— Сюзан, я обдумал ваш случай (case — «случай», но также «судебное дело» и «заболевание»), все будет хорошо.

— Case? Какой case? — тревожно переспросила Сюзан.

— Ваши проблемы с ксероксом.

— Проблемы, какие проблемы?

— Я помню, как вы его покупали.

— Как я его покупала?!

— Вы все время были на телефоне, я спросил, что происходит, вы сказали, что нам дали деньги на собственный ксерокс, отдельно от немецкой кафедры, и вы заняты comparative shopping, выбираете лучший вариант. Лучшим вы сочли дилера-армянина и теперь думаете, что, раз вы армянка, вас станут винить в поломке армянского ксерокса. Но ничего подобного в голову никому не придет, вам просто дадут деньги на починку, вот и все, end of story.

За блиц-сеанс фрейдизма я был вознагражден смущенной улыбкой и никогда больше не имел проблем с ксерокопированием...

Когда я в очередной раз стал рассказывать эту историю, кто-то спросил меня, как же я так здорово раскусил ситуацию. Пришлось разоружиться — деконструироваться.

— Ну, психолог из меня никакой. Специалист я по приемам выразительности, виньеткам, каламбурам. Мой инструментарий — словесные и сюжетные рифмы, ложные развязки, парадоксальные пуанты. Плюс общая философская подкладка, что,

дескать, не надо вкручивать, не бином Ньютона. Разумеется, с таким набором отмычек можно и не угадать, зато в случае удачи эффект полный.

Есть мнение...

— А ты все-таки хороший парень (good guy), — сказала мне одна коллега в конце престижной конференции в Сан-Диего, на заключительной партии, когда все слегка подвыпили.

Мне уже приходилось слышать подобное. Я во многих отношениях не подарок, доброе слово и кошке приятно, но мне всегда хотелось спросить, по поручению какого именно этического политбюро берутся они удостоверить мое благонравие. Поддавшись соблазну, на этот раз я спросил — и был тотчас разжалован обратно в негодяи.

Механизм вынесения этих оценок несложен. Объявляя тебя «хорошим», себя дамочка позиционирует как бесспорную носительницу добра и справедливости. Она, конечно, вправе и отказать тебе в одобрении, но тогда ты мог бы усомниться в ее полномочиях и игра закончилась бы вничью. А так ее стратегия беспроигрышна: натянув тебе четверку с минусом, в обмен она получает диплом с отличием. (В Америке только полный невежа может не принять одобрения собеседника — won't take «yes» for an answer.)

Особенно красноречиво это «все-таки». За ним рисуется бурное заседание некоего высшего совета, на котором она выдерживает тяжелый бой в твою защиту, вынуждена признавать твои многочисленные недостатки, но в конце концов преодолевает законное недоверие большинства и добивается оправдательного приговора — с минимальным перевесом.

С тех пор прошел десяток лет, но я хорошо помню ее шок от моего вопроса. Наверно, мне следовало смолчать. Она была не первой молодости, безнадежно усата, для компенсации курила трубку, носила устрашающие сапоги и писала исключительно на женские темы, не получая, однако, одобрения даже у той русской писательницы, творчеству которой посвятила целую книгу. А вообще-то, была неплохим парнем.

О главном

Один славист старшего поколения (Сидни Монас) рассказывал, как в Оксфорде к нему на улице подошел новоприбывший студент-японец и спросил, где здесь Оксфордский университет. Сделав широкий жест рукой, Монас сказал, что все вокруг и есть Оксфордский университет. Японец уточнил:

— Я имею в виду, где главное здание?

Монас долго не мог объяснить ему, что применительно к Оксфорду этот вопрос не имеет смысла. Университет состоит из множества независимых колледжей, разбросанных по городу, и ни из какого административного центра не управляется.

Аналогичным образом я, приехав в Лос-Анджелес, долго не мог смириться с тем, что нет никакого киноуправления, а только отдельные кинотеатры и что нельзя позвонить в аэропорт, то есть в его дирекцию или даже справочную, а можно только в ту или иную частную авиакомпанию.

Двое коллег, муж и жена, поселившиеся на Западном берегу еще в начале 1980-х, рассказывали, что, когда в горбачевский период один ведущий советский филолог-диссидент (назову его условной фамилией Иванов) начал наезжать в Калифорнию, он прежде всего попросил указать ему главных славистов. Они стали неуверенно называть разные имена, из чего тот сделал вывод, что они сами не в курсе дела — не подключены к властным структурам. Их попытки объяснить, что американская славистика не подчиняется никакому президиуму, не имели успеха.

С тех пор «Иванов» окончательно перебрался в Калифорнию, неплохо устроился, но обречен чахнуть без рычагов власти — не потому, что у него нет к ним доступа, а потому, что их нет как таковых. Жалуется он и на малочисленность слушателей: в Москве (и Гаване) на него сбегались толпы, а в Лос-Анджелесе у него в лучшем случае десяток студентов. Еще бы: там он представлял собой (анти)начальство, здесь же он всего лишь один из многих специалистов в определенной, достаточно периферийной области.

Когда я начал свои ахматоборческие штудии, один коллега посоветовал показать их общему знакомому, ахматоведу номер один. При случае я показал, но от меня не ускользнула бюрократическая ирония ситуации: анализ культа личности Ахматовой — «института ААА» (как я окрестил его до того, как тройной инициал попал в «Голубое сало» Сорокина) — подается на просмотр в высшую инстанцию этого самого института.

Речь о культе личности заходит здесь не случайно. Мой давний друг и соавтор Игорь Мельчук являл, несмотря на редкое душевное благородство и страстное диссидентство, любопытный образчик пропитанности тоталитарной идеологией. (Одна знакомая сказала про него, что он хотя и анти-, но настоящий ленинец.) Примеров тому много; в данной связи вспоминается его склонность объявлять своих знакомых главными экспертами по соответствующим вопросам. Такой-то (близкий друг) — знает все про физику, такая-то (жена шефа) — главный врач и всех вылечит, такой-то (муж сестры) — великий мастер на все руки и починит любой прибор, такой-то (я) — единственный разумный литературовед и т. д.

Здесь узнаются черты командного стиля. Наверху — Сталин, великий гений всех времен и народов; под ним, образуя идеальное дерево подчинения (недаром Мельчук настаивал именно на таких структурах для синтаксиса), — начальники следующих рангов: Берия (безопасность), Ворошилов (армия), Жданов (культура); этажом ниже (по культуре): Лысенко (биология), Горький (литература), Станиславский (театр)... Как говорится в анекдоте: «Лаурэнтый, кто там у тэбя на связи сыдыт?»

Эта система примитивной регламентации жизни воспроизводилась и на уровне рядовых советских людей. У каждого по возможности имелся один свой человек по продуктовым заказам, другой — по шмоткам, третий — по медицине, четвертый — по путевкам, пятый — по книгам...

Теперь же (во всяком случае, в Калифорнии) продуктов завались, книг — читай не хочу, а вот единоначалия острый дефицит: некем командовать, некому рапортовать. Нет главного.

Unfortunately, мля

Стихи Коржавина я знал со времен «Тарусских страниц», а с ним самим познакомился только в Калифорнии, году в 1983-м или 1984-м, когда он гостил у общих знакомых в Санта-Монике. Ольга же подружилась с ним еще раньше, в ходе организованной ею конференции по литературе «третьей волны» в Лос-Анджелесе (1980).

Коржавину было приятно, что я помню наизусть его стихи, и он объявил меня своим парнем; мы даже перешли на «ты». Но с моим структурализмом он примириться не мог. Полагаю, что дело не только в конкретных разногласиях, каковые действительно имеются. (Так, Коржавин вообще не жалуется славистов, литературоведов и прочих паразитов на теле литературы; на дух не принимает он и моей любви к поэзии Лимонова. «Чего уж там — персонажи пишут», — отчеканил он однажды.) Задним числом я пришел к мысли, что тут работает еще и некая общая стратегия: предъявляя собеседнику тот или иной идейно-политический счет и тем самым умело вызывая у него чувство вины, Коржавин как бы обращает его в моральное рабство, позволяющее далее потребовать от него, выражаясь словами Остапа Бендера, ряд мелких услуг. Поэтому поддержание обвинения носит принципиальный характер, требуя от Коржавина быть постоянно начеку.

— Эма, — говорил я ему, улучив момент, когда он находился в добром расположении духа, — давай я у тебя буду на роли хорошего структуралиста. Знаешь, как у антисемита может быть жена-еврейка, у расиста — друг-негр?

— Нет, — бдитительно спохватывался Коржавин. — Хорошего структуралиста быть не может. Человек ты неплохой, но добро и структурализм — две вещи несовместные.

Коржавин уехал, а потом через какое-то время позвонил Ольге с просьбой о помощи. Его жена (тогда главный источник доходов в семье) теряла работу в Гарварде (ее ставка преподавателя языка не допускала продления), и он спрашивал Ольгу, нет ли где-нибудь в американской славистике возможности найти преподавательское место. Как раз в тот год на нашей кафедре про-

ходил конкурс на замещение такой должности, и Ольга предложила Любе подать документы, что и было сделано. Последовал рутинный процесс поиска кандидатов, которым занималась уже не Ольга — завкафедрой, а специально созданный комитет. На этот раз ни один из кандидатов не удовлетворил членов комитета и никто принят на работу не был, о чем всем им были разосланы корректные письма с комплиментами и сожалениями.

Прошло еще некоторое время, и наш санта-моникский приятель позвонил сказать, что только что говорил по телефону с Коржавиным, который очень сердит на нас с Ольгой, и нам следует немедленно с ним связаться. Он дал бостонский номер Коржавина, мы позвонили и услышали характерный брьюзжащий захлеб:

— Ну что такое, понимаешь? Ну, не вышло, ну, позвоните, как люди, скажите, не вышло. А это что? Сначала приглашают, а потом? Письмо, понимаешь, на бланке, понимаешь, по-английски... Unfortunately, мля... Разве это по-нашему?..

Пришлось долго неискренне каяться по телефону, а потом долго нести фальшивое бремя вины. Но все это с лихвой окупалось обретением могучей формулы, вышедшей из творческой лаборатории мастера.

Кстати, упор Коржавина на «нашенские» ценности слышится и в его органично сросшемся с ним псевдониме. Взят он был, конечно, в годы, когда поэту с фамилией Мандель рассчитывать было бы не на что. Но это не просто первая попавшаяся русская фамилия. В ней видна марка той же поэтической мастерской: тут и непритязательные корж и ржаная корка, и мужественный налет ржавчины, и фонетическая рецептура Маяковского (есть еще хорошие буквы: Эр, Ша, Ща), и некое державинское эхо. (Интересно, не в Коржавина–Державина ли метит фамилия Маразмин? Маразм + Карамзин — это даже посильнее Кармазинова Достоевского.)

В общем, старик Коржавин нас заметил и, в гроб сходя, обматерил. Ну, насчет гроба это так, к слову. Десяток лет спустя в Питере, на двухсотлетних пушкинских торжествах, он был в добром здравии и читал под аплодисменты зала. А недавно перевалил за девяносто.

Полировка личности

С Майей Каганской я познакомился летом 1984 года в Иерусалиме, на Международном пастернаковском симпозиуме. Я заранее знал ее по блестящим эссе и книге «Мастер Гамбс и Маргарита» и вот увидел лично. В ней все было внушительно — фигура, нос, низкий голос, ядовитое красноречие.

Как-то мы оказались вместе в лифте, и я спросил, чем она занималась в России, где я о ней вроде бы не слышал.

— В России я исключительно полировала свою личность, — сказала она своим кокетливым басом. — И, отполировав, решила преподнести в дар Западу.

Присутствие в лифте славистов — представителей осчастливленного Запада, ее не смущало.

Голубой кит

Тележка нашего университетского почтальона пестрит разнообразными стикерами. Среди них такой: *GO NUKE A GAY WHALE FOR JESUS!* Подрывом чуть ли не всех популярных клише — политически корректных и наоборот — дышит здесь каждое слово¹. Может, не все потеряно?

Натурализация, или Чуть-чуть не считается

Вечно все как-то не так, вернее, так, да не так. В основном это мелочи, но они идут косяком и подрывают незыблемость сущего.

Ну, фикшн на то и фикшн, чтобы обещать в лучшем случае правдоподобие, для чего под вымышленные факты подводятся реалистические, тоже вымышленные, основания. А иной раз и не очень реалистические, но узаконивающие выдумку ссылкой на тот канон, жанр, регистр условности, в котором ведется рассказ. Если текст начинается: «В некотором царстве, в некотором государстве...», то дальше можно верить в любые чудеса.

¹ Букв.: «ПОДИ ВЗОРВИ ЯДЕРНОЙ БОМБОЙ ГОЛУБОГО КИТА ВО ИМЯ ИИСУСА!».

Русские формалисты назвали эти подпорки мотивировками, а западные структуралисты переименовали их в средства натурализации. Натурализация — это когда что-то неестественное, ненатуральное, метафорическое получает статус реального — желаемое и действительное объявляются мужем и женой одной сатаной. В общем, исправленному верить.

Но, что характерно, всегда остаются какие-то зазоры, прорехи, нестыковки, ножницы, хочешь — верь, а хочешь — не верь. У Кольриджа на этот случай есть даже специальное красивое понятие: a willing suspension of disbelief — «добровольная приостановка недоверия».

Не легче и с нон-фикшн. Оказывается, как объяснил Хейден Уайт, никакого нон-фикшн не бывает: при всех стараниях держаться фактов, неизбежен тот или иной их отбор, упорядочение, постановка в ту или иную связь и, значит, некий субъективный перекосяк. Так что вся старательно документированная фактография — не что иное, как еще одно оправдание вымысла.

Классический пример игры в натурализацию подает Остап Бендер в Пятигорске.

«„Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал“ (...)

Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:

— Приобретайте билеты, граждане. Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза — тридцать копеек.

Остап бил наверняка (...) С советского туриста содрать десять копеек за вход „куда-то“ не представляло ни малейшего труда (...) Все доверчиво отдавали свои гривенники.

Перед вечером к Провалу подъехала (...) экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:

— Членам союза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.

Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

— С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком проваливался».

Бендер — артист, мастер натурализации (по-английски этот вид творчества называется *con-art*, «искусство жульничества на доверии»). Опору своей выдумке Остап находит в ссылках на почтенный жанр (обычай взимания денег за вход), выдает в качестве билетов нечто осязаемое (квитанции), для вящей убедительности всячески дифференцирует цены, а на требование конкретной мотивировки отвечает уже полнейшей туфтой. Персонажи доверчиво покупаются, читателю же дано насладиться очередной серией прыжков через пропасть между вымыслом и правдой.

Особенно характерен заключительный пируэт. Представитель власти — высшей натурализационной инстанции — Остап справедливо пугается и уже готов отступить, но справляется с ситуацией. Свой рискованный маневр он оформляет каламбуром, то есть самым легкомысленным из тропов, причем по смыслу созвучным его положению, поскольку опасность провалиться угрожает не столько Провалу, сколько ему самому.

(Это не натяжка, а если и натяжка, то легко натурализуемая.)

Взявшись за игру с натурализацией, художник должен довести рискованность выдумки (а затем и спасение ее правдоподобия) до максимума: на самом пике вранья пошатнуться, чуть было не упасть, но акробатически продолжить свой неверный путь над бездной.

Так поступает Мандельштам в «Военных астрах», когда его тост за желанные ценности грозит сорваться ввиду отсутствия вина, и поэт на той же триумфально-перечислительной ноте переходит к выбору воображаемых марок: *Я пью, но еще не придумал — из двух выбираю одно: Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.*

Так же ведет себя герой Чарли Чаплина в «Цирке»: берется, не умея, пройти по канату над ареной; облаченный в артистический плащ, безупречную черную пару и цилиндр, шикарно раскланивается перед публикой; некоторое время уверенно идет по канату — благодаря держащей его на весу жульнической веревке; не замечает, что она вскоре обрывается, и продолжает держаться молодцом, а заметив, начинает отчаянно шататься из стороны в сторону; отбивается от трех облапивших его обезьянок, две из

которых закрывают ему глаза, а третья постепенно раздевает его до нижнего белья; все очевиднее рискует свалиться вниз, вызывая все большее сочувствие публики; и кое-как все-таки завершает свой номер.

До Бендера, Мандельштама и Чаплина мне, конечно, далеко, но наскоро заштопываемыми прорехами между поэзией и правдой буквально пестрит ткань моей жизни — не исключено, что из-за моего повышенного интереса к ее текстуальности. Впрочем, такие же провалы и перекидываемые через них призрачные мостики я вижу и окрест себя, хотя большинство граждан спокойно проходят мимо, а то и карабкаются по этим веревочным лесенкам.

Ну, ситуацию повального, часто шитого белыми нитками, советского притворства (откуда и гротескнейшая мимикрия Бендера) примем за данное и оставим в стороне. А в качестве первого любопытного образца приведем мой ответ университетской фонетичке, добивавшейся от меня адекватной артикуляции английских гласных:

— Ирина Федоровна, ну зачем мне это? Ведь мне же никогда не придется притворяться американцем?!

Этот эпизод я уже однажды вспоминал, но только сейчас сообразил, сколь идеально он иллюстрирует идею натурализации — как в общем смысле подстройки под некую реальную практику (в данном случае владение языком), так и в специфическом смысле официального принятия в лоно иностранного (в моем случае — американского) гражданства.

Первым практическим шагом в этом направлении стало мое участие в массовом шоу под названием «воссоединение с родственниками в Израиле». Общая идея выезда из СССР облекалась в форму этой типовой метафоры, которая далее, применительно к каждому индивидуальному участнику, реализовывалась как вызов от конкретного, опять-таки вымышленного, родственника. Насколько помню, мое приглашение было организовано Димой Сегалом, и я фигурировал там в качестве его двоюродного брата.

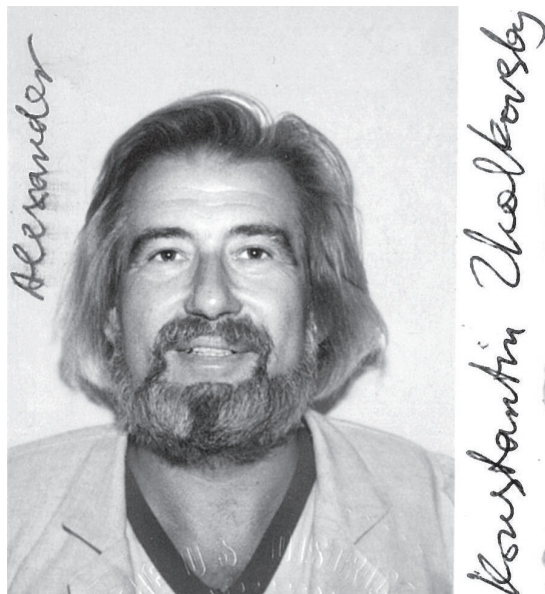
Условности реалистического поведения (по Станиславскому) данных характеров в предлагаемых обстоятельствах свято соблюдались всеми сторонами. Если кому органы в выезде и отказывали, то по причине (реальной или вымышленной) причастности к государственным тайнам, но никогда не из-за фиктивности

родства. Думаю, что советское начальство тайно упивалось тем, что последний скачок в мир свободы и справедливости делался отъезжантом под флагом вынужденного, но тщательно разыгрываемого вранья.

Когда в результате этого многоактного фарса дело в 1986 году дошло у меня до того, чтобы окончательно притвориться американцем, оказалось, что соответствующее агентство так и именовалось: United States Immigration and *Naturalization* Service (INS). Я уже жил в Штатах более пяти лет, давно имел грин-карту, а в 1983 году переехал из провинциальной Итаки в шумный Лос-Анджелес, перенаселенный китайскими и латиноамериканскими эмигрантами, одним из следствий чего являлись огромные очереди в государственные учреждения.

Но всякий спрос рождает предложение, и, как сообщили мне мои российские собратья по эмиграции, для обхода очереди образовалось множество специальных фирм, занимающихся подачей документов от имени клиентов, в частности, в INS. Такая фирма была обнаружена в самом сердце — даунтауне — Лос-Анджелеса, и в один прекрасный летний день, жаркий до невозможности, я туда отправился. Очереди почти не было, и мной вскоре занялась милейшая латиноамериканка (Сильвия-фамилии-не-помню, написал бы Аксенов) в изящной светло-серой жакетке. Под мою диктовку (как если бы я был неграмотным мексиканцем) она быстро заполнила бумаги и приготовилась к оказанию очередной ценной услуги — изготовлению фотографии, каковое входило в покрываемый скромной суммой в \$30 прейскурант фирмы.

Все шло как по маслу, но, окинув меня профессиональным оком, «Сильвия» сказала, что так не пойдет: на официальном фото нельзя быть в простой тишотке — нужен пиджак. Натурализация, как водится, требовала соответствующих вещдоков (вспомним квитанции Бендера и артистическое облачение Чарли). Но пиджака, ввиду страшной жары, на мне не было, а специально захватить его я не сообразил. Тащиться за ним по жаре через весь город, а потом обратно было немыслимо. Наступил тот самый момент шатания на грани фола, который неизбежно подстерегает самозванца. (Никогда еще Бендер не был так близок к провалу.) Надо было действовать.



— А что, вот эта ваша жакетка не могла бы сойти за мой пиджак (по-английски это одно и то же слово, jacket)? — Я обратился к Сильвии самую лучезарную из своих улыбок, не могу сказать, что фальшивую, поскольку ситуация начинала мне нравиться.

Сильвия ответила полной взаимностью — просила в ответ, сняла и протянула мне жакетку, которая кое-как на меня налезла, не треснув по швам, в отличие от гриневского тулупчика на Пугачеве, — помогли модные тогда широкие плечи. Пуговиц, которые выдали бы ее дамский покрой, на ней, кажется, не было, во всяком случае, они не вошли в кадр (см. фото).

Архетипический обмен одеждами ритуально — хотя и неведомым для властей образом — закрепил мое братание с Америкой. Бумаги были поданы и вскоре привели к получению удостоверения о натурализации меня в качестве полноправного американского гражданина. Правда, в документе мое «среднее имя» — Konstantin (переделанное из отчества) — утратило свое второе «н», хотя и четко прописанное мной, как полагается, на фотографии, но это уже совершеннейшая мелочь — то (еще большее по сравнению с моим трансвестизмом) «чуть-чуть», которое, как известно, не считается.

Между прочим, говоря «чуть-чуть не считается», мы подразумеваем, что не считается не положительное «чуть-чуть», а отрицательное «чуть-чуть (было) не», так что «чуть-чуть не провалился» значит «не провалился» (по-английски этому соответствует формула: «Winner take all»). Но говорить «„чуть-чуть не“ не считается» было бы занудством, и одно «не» спокойно опускается — не считается (в лингвистике такое упрощение называется гаплогогией).

На фоне Пушкина...

Окуджаву я люблю более полувека, дивясь, что проигрываемое на компьютере *Извозчик стоит, Александр Сергееч прогуливается, Ах, завтра, наверное, что нибудь произойдет* и сегодня вызывает слезы, хотя сотворение кумиров из Пушкина и Лермонтова противоречит не только моим просвещенным взглядам, но — невольно — и словам самой песни: *А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему / И мы иногда все холопами числим себя*. Так или иначе, эзоповские полубещания не обманули: «что-нибудь» произошло. А неполная выдавленность кумира из холопа, возможно, даже способствует ощущению близости.

Окуджава долго шел в связке с Галичем и Высоцким. Про полузабытого ныне Галича приходилось слышать, что он единственный настоящий поэт после Пушкина. «Володя» все еще звучит сам и слышен в большей части того, что поется другими, но на бумаге безнадежно проигрывает.

Первую критику Окуджавы слева я услышал от Лимонова — году в 1970-м. Задним числом она не удивительна, но тогда поразила решительным отвержением шестидесятнической поэзии как прекраснородушной и безжизненной. В результате я впервые задумался об Окуджаве как предмете исследования, но ни его, ни Ахмадулину (ей тоже попало) не разлюбил. В науке, которую я представляю, полагается равномерно любить ссорящихся между собой подзащитных.

Как-то я чуть не месяц пролежал в постели с тяжелыми мигренями. Мигрени были от советской власти (и раз навсегда прошли 24 августа 1979 года с пересечением государственной гра-

ницы), от нее же — возможность числиться на работе, лежа без движения в темной комнате с примочками на глазах. Впрочем, я не совсем бездельничал.

Читать я не мог, но мог слушать, и Таня ставила мне в соседней комнате Окуджаву. Я и так знал почти все наизусть и уже пытался объяснять своим друзьям-лингвистам, бодро печатавшим под Окуджаву походный шаг, в чем состоят его далеко не маршеобразные инварианты. А тут тексты стали прокручиваться во мне с машинной регулярностью, буквально напрашиваясь на структурный анализ.

Идея изучать Окуджаву теми же методами, что Пастернака, Мандельштама и Пушкина, вызвала недоумение у нескольких ученых коллег — но не у М. Л. Гаспарова, которому я на них пожаловался и который в ответ продекламировал отточенную (полагаю, заранее) формулу: «Только занимаясь второстепенными поэтами, мы смеем надеяться, что не забудут и нас, третьестепенных филологов».

Напечатать статью об Окуджаве тогда нечего было и думать, но доложить устно не составляло проблемы, и я сделал о нем два доклада, из числа самых удачных в моей жизни.

Первый — на странной семиотической конференции в «Информэлектро» (1978), собравшей элитарную компанию участников (помню Ю. М. Лотмана, Вяч. Вс. Иванова, Л. Н. Гумилева, Б. М. Гаспарова...) и толпы слушателей со всей Москвы. Доклад был сырой, извиняющийся («Я думаю выявить то-то; может быть, дело в том-то...»). Непритворные пробелы сыграли магическую роль — каждому было что сказать, каждый мог почувствовать себя соавтором, и все с легким сердцем кивали докладчику.

Окрыленный успехом и доделав работу, я вызвался выступить на семинаре в ВИНТИ у Ю. А. Шрейдера и В. А. Успенского и загорелся идеей пригласить самого Окуджаву. Я не был с ним знаком, но по цепочке (через Юру Левина) получил его телефон и разрешение позвонить. Бард был бархатно-ласков, обещал прийти, просил только напомнить поближе к делу. Но когда я позвонил накануне, он ласково извинился, что быть не сможет — болен, и ласково же спросил, когда следующий раз. Я со свойственной мне мерзкой находчивостью ответил, что следующего раза не будет — это не концерт.

Следующего раза действительно не было, но на концерт получилось подозрительно похоже.

Огромный зал, вмещающий человек 500, был заполнен энтузиастами, с полуконспиративным возбуждением воспринимавшими применение полуоупальных методов к полузапретному материалу.

А какую-то из песен, кажется, даже прокрутили на магнитофоне в порядке иллюстрации.

Личное знакомство произошло лет через семь в Лос-Анджелесе, в эмигрантском кругу. Окуджава дружил с Олей (Матич), и через нее я знал, что он ценит мои статьи о нем. (На первую из них, посланную из Итаки, он откликнулся любезным письмом, но с годовой задержкой; я гадал — не понравилась? — но он извинился незнанием моего отчества, а без него какие же комплименты?) В один из приездов они с женой гостили в роскошной квартире в Марина-дель-Рей, с видом на океан; помню, как на велосипеде отвозил им какое-то лекарство из Олиных несметных запасов.

От Оли же я узнал о его недовольстве моим интервью с примирительной характеристикой Лимонова («плохой идеолог, но хороший писатель»): «Нельзя же хвалить Лимонова...» Однако, когда мы очередной раз увиделись в Москве (на праздновании третьей годовщины независимости «Знамени»), кумир был опять чарующе ласков; о претензиях не обмолвился.

Следующего раза не было — и отныне не будет, а жаль.

P. S. Только что сообразил, какой поэтически безупречный лейбл — *Булат Окуджава*. Ямб имени ($y-A$) и хорей фамилии ($a-y-A-a$) сцепляются в симметричный амфибрахий: $y-A-a-y-A-a$.

Пришелец

Когда в конце семидесятых я заговорил об отъезде, один приятель-физик (еврей, но не дурак выпить) сказал: «Зато тут ты с полуслова понимаешь каждого пьяницу». — «А зачем мне его понимать», — холодно ответил я. Однако разговор этот разберил-таки во мне тайный семиотический страх потери безуслов-

ного контакта с окружающими. За годы эмиграции волнения улеглись — не потому, чтобы у меня прорезался наконец абсолютный слух, а потому, что в разношерстной Америке хватает относительного.

Владея английским лучше половины местных жителей, знаюсь я в основном с российской публикой. Но у меня есть и набор американских масок, и среди них роль бухгалтера жилищного кооператива. Эту чуждую должность я взвалил на себя ради двух роскошно разросшихся деревьев, заслоняющих мою верхнюю веранду от улицы. Соседи периодически покушаются срубить их и заменить молодыми саженцами. Аргументация варьируется: стрижка крон дорожает, корни подтачивают фундамент и коречат асфальт, возможны иски, штрафы. Но я провижу за этим подспудную приверженность американцев типовому архитектурному эскизу: геометрически четкий фасад и на его фоне дерево — изящная вертикальная палочка с парящим над ней полукруглым росчерком. Я горячусь на собраниях, пишу полные риторического яда письма председателю кооператива, наконец, угрожаю отставкой — и понимание наступает.

В остальном жизнь кондоминиума лишена драматизма. Уровень преступности в Санта-Монике невысок: нет граффити, не слышно ограблений.

Цена недвижимости растет. Беспокоят разве что бездомные, забредающие по своим нуждам в наш подземный гараж. На оборонительную автоматическую решетку кооператив скупится, а наступательные действия затруднены атмосферой святости, окружающей в Штатах все мыслимые меньшинства. Для бомжей издается даже специальный печатный орган под остроумным названием «Hard Times», сочетающим английскую газетную ономастику («The New York Times») с диккенсовскими коннотациями («Тяжелые времена»).

Когда перед нашей гаражной дверью (она ближе всех к улице и водоразборному крану) стали обнаруживаться следы ночных попок, утренних омовений и повседневных оправок, Катя¹ быстро вычислила виновника — недавно появившегося в квартале бомжа, облаченного в стандартное серо-черное тряпье, но

¹ Катя Компанеец, художница, дочь физика А. С. Компанейца (1914–1974).

примечательного своей странной позой. Припав на одну ногу и глядя куда-то вдаль, это приبلудное существо часами неподвижно стояло на углу напротив, и, когда Катя убедила меня, что, как член правления, квартировладелец, гражданин и мужчина, я больше не могу уклоняться от вызова, я знал, где его найти.

Мобилизовав свои запасы праведного собственнического гнева, с одной стороны, и политкорректной выдержки, с другой, я пересек улицу, подошел к бродяге и подчеркнуто внятными, гипнотизерским тоном, каким говорят с детьми, больными и иностранцами, продекламировал:

— Вы не должны ходить туда. — Я пальцем указал на гараж. — Это частная собственность. Туда нельзя. Если вы будете туда ходить, вы знаете, что будет. Мне придется вызвать полицию. И вы знаете, что будет. Больше туда не ходите.

В продолжение этого монолога на Special English его адресат сохранял полную непроницаемость. Он не изменил позы, не перевел на меня своего потустороннего взгляда, вообще никак не удостоил меня вниманием. Я решил проиграть пластинку еще раз.

— Послушайте, — начал я. — Вы не должны ходить туда. Это частная территория...

Бомж повернулся ко мне, и я увидел его правильное, дочерна загорелое лицо, выразительные глаза и четко очерченные губы, которые произнесли:

— What are you, some kind of fucking alien?!.. («Кто ты такой — какой-то чужак долбаный?!»)

Alien — богатое слово: оно значит и «чужеземец», и «иммигрант без гражданства», и «инопланетянин, пришелец». Крыть было нечем. Бормоча: «Police, I will call the police...» («Полицию, я вызову полицию...»), я удалился на свою территорию — отчитываться в провале карательной операции и смаковать ее семиотические аспекты.

Семантика недаром уступила ведущую роль прагматике. Кое-как мы с настоящим американцем все-таки поняли друг друга — на другой день он исчез с нашего горизонта. Видимо, откочевал в какие-то более родные палестины, где не злоупотребляют словом «полиция» и хотя бы не коверкают его по-басурмански.

Таксист и синтаксист

В годы, когда я занимался языком сомали и работал в сомалийской редакции Московского радио (1964–1971), я в общем овладел его сложной грамматикой и выработал довольно приличное произношение (по словам сомалийцев, я говорил с арабским акцентом, — и то хлеб). Что касается словарного запаса, то он у меня ограничивался лексическим минимумом бытовой разговорной речи плюс те две сотни газетных клише, с которыми Московское радио обращалось к адресатам своей пропаганды. В эмиграции, выбрав из своего по-советски ренессансного репертуара карьеру «слависта», я стал постепенно забывать как лингвистику, так и сомали, особенно его словарь.

Одна из ежегодных славистических конференций проходила в Вашингтоне (году в 1987-м), и так случилось, что несколько человек с нашей кафедры возвращались в Лос-Анджелес одним и тем же рейсом. Мы решили взять на всех одно такси, и поскольку занялся этим я, то я и сел на переднее место рядом с водителем. Трое коллег расположились сзади, за стеклянной перегородкой, как в театре, точнее — как в немом кино.

Соседство с таксистом — топос, обладающий мощной текстопорождающей силой. Таксисты многоопытны, философичны и разговорчивы; общение с ними четко обрамлено в пространстве и времени и спроецировано на фон меняющихся за окном декораций. Возникающие при этом дискурсивные сценарии часто непредсказуемы.

Один из лучших фильмов 1990-х годов — «Night on Earth» Джима Джармуша (Jarmusch) — построен как серия из пяти новелл о поездках на такси в разных столицах мира. Замечательные записки таксиста (Л. Штакельберг. «Пасынки поздней империи») были опубликованы в «Звезде» (1996). Первое смутное осознание близящегося крушения советской империи пришло ко мне где-то в конце 1960-х годов, когда я удачно поймал такси, освобождавшееся прямо перед моим сквериком, а вместе с ним — и реплику таксиста, обращенную вслед предыдущему пассажиру:

— Чего никто не хочет понять, это что в ближайшее время деньги будут платить только за непосредственные услуги. В стра-

не есть ценные работники, но правительство не имеет технических способов выловить их из общей массы, отличить их от бездельников. Поэтому оплачиваться будут только прямые услуги.

Этот философ от баранки оказался инженером, носатым пожилым евреем, в свое время окончившим несколько институтов, но сознательно переквалифицировавшимся в таксисты и частные водители. Он сказал, что зарабатывает таким способом большие деньги.

Вообще, в разных хронотопах таксисты рекрутируются из разных слоев населения: в Париже 1920-х годов это были русские дворяне, а в Нью-Йорке 1970–1980-х — бывшие советские евреи. В Вашингтоне 1980-х годов, о котором идет речь, таксистами работали всевозможные выходцы из Африки.

Одного взгляда на нашего водителя мне было достаточно, чтобы узнать в нем сомалийца. Тем не менее я решил выкатить пробный шар и тихим голосом произнес стандартное сомалийское приветствие. Он на это и бровью не повел, как будто ничего не было сказано. Я повторил те же слова громче; он понял, что я обращаюсь к нему, но явно недоумевал с чем. Видимо, машина обработки языковой информации включается не раньше, чем человек осознает, что имеет место ситуация общения на известном ему языке. Лишь после моего третьего захода водитель, не знавший, чему верить — глазам или ушам, согласился наконец счесть меня за сказавшего что-то по-сомалийски и произнес ответную формулу.

Разговор постепенно завязался. Сразу же обнаружилось, что мне не хватает самых элементарных слов. (Эмигрировав, я вообще заметил, что, находясь в среде одного иностранного языка, очень трудно активизировать свой словарный запас другого, пусть даже не особенно забытого.) Однако закон Ципфа сыграл свою роль — новых слов требовалось все меньше, уже употребленные повторялись все чаще, и я все увереннее пускал их в грамматический оборот.

Одновременно я имел удовольствие наблюдать за растущим недоумением собеседника, озадаченного разрывом между скудостью моего словаря и жонглерской ловкостью обращения с ним. На его глазах моя речь, начавшаяся в лексическом отношении

почти с нуля, насыщаясь, как вампир, кровью его реплик, расправляла, чем дальше, тем шире, свои грамматические крылья. Богатый потенциал сомалийского синтаксиса редко находит себе применение в устной речи, я же принялся выстраивать сложнейшие периоды из главных и придаточных предложений, личных и безличных конструкций, изъявительных, сослагательных и отрицательных (есть там и такие) форм, проецируя на сомали всю талмудо-греко-латинскую мощь европейской риторики и возводя целые готические соборы ажурных языковых структур, хотя и простейшей словесной кладки.

Пантомимический аспект диалога был, по-видимому, достаточно эффектен, ибо вскоре привлек внимание коллег. Они приоткрыли окошечко в перегородке и пытались понять, что происходит.

Увы, моим стрелчатым построениям суждено было остаться сугубо воздушными. Хотя мой новый знакомец надавал мне телефонов своих соотечественников в Лос-Анджелесе, я так и не собрался им позвонить, и мой сомалийский словарь улетучился почти с такой же скоростью, с какой внезапно сооткался из эфира на пути в аэропорт. Разве что коллеги, ставшие свидетелями неожиданного перформанса, были на некоторое время *duly impressed*.

Не робостью, так ревностью

Однажды, в ранней своей семиотической молодости, я брякнул кому-то из взрослых коллег, то ли статной лингвистке Н., чуть постарше меня и очень мне нравившейся, то ли еще более зрелому востоковеду П., пользовавшемуся репутацией универсального гуру, а может, обоим сразу, что всякая там любовь и ревность — материи не столько реальные, половые, физические, сколько условные, символические, ритуальные. Ответом было вежливое молчание, но вскоре Н. передала мне вывод П.: «Он, кажется, решил, что у вас проблемы с потенцией».

Сегодня мое дерзкое прозрение стало общим местом, но тогда оно обошлось мне дорого. Авторитетно опущенный в глазах дамы, я решил всерьез на себя оборотиться. Дело в том, что

ранней моя молодость оставалась не в строго арифметическом смысле, а, скорее, в практическом и прежде всего, увы, в сексуальном. Я был спортивен, остроумен, привлекателен (по мнению некоторых, даже красив), женат — и, насколько это возможно, невинен. Диагноз, произнесенный П., не оставлял выбора, и я приступил к лихорадочному сексуальному самообразованию, которому и отдал лучшие годы жизни.

Какое-то время я действовал на ощупь, предаваясь полевым исследованиям и лабораторным экспериментам в меру сил и возможностей. Потом на помощь пришло случайно попавшее мне в руки анонимное, но бесценное учебное пособие по науке страсти нежной: «The Way To Become THE SENSUOUS MAN».

Ирония ситуации состояла в том, что большинство коллег я догнал и перегнал в этом плане довольно быстро, поскольку они, будучи мастерами властных интриг служебного, брачного и прочего социального свойства, в массе своей страдали безнадежным отрывом от того, что по-английски называется *facts of life* и было воспето не Назоном и Шодерло де Лакло (сосредоточившимися как раз на игровых стратегиях оболъщения), а Колом Портером в «Let's Do It, Let's Fall in Love», где «это» делают даже *electric eels*, «электрические угри», — куда уж физиологичнее. Что вовсе не умаляет достоинств самой песенки как орудия соблазнения.

Таким образом, в моей практике произошел некоторый перекос в сторону материальной части. Собственно, этого можно было ожидать, поскольку своим заявлением об условности любовных игр я претендовал не столько на открытие в области сексологии, сколько на язвительную констатацию модуса вивенди коллег по семиотическому цеху. Ну, перед П., с его серийной полигамией, многочисленным потомством и, кто знает, сколь многодонною жизнью вне закона, я задним числом, пожалуй, готов снять шляпу, но о неизбывном единобрачии Н. в монотонном симбиозе с удручающе одномерным мужем могу только пожалеть.

И не потому, что зелен виноград, — хотя пора признать, что, отдав себя другому, моя Татьяна осталась век ему верна. Просто наши отношения очень скоро отлились в формы благосклонно

принимаемого куртуазного поклонения, вполне устраивавшие не только ее, но и меня, и когда однажды за обедом у них на даче она с неожиданной игривостью во всеуслышание объявила, что если бы во время недавнего купания в пруду я предложил ей поцеловаться, то она бы, наверное, не отказалась, — я замешкался с ответом, поскольку никаких эротических фантазий это деревянное кокетство во мне не пробудило.

Но ближе к делу — речь не о любви, а о ревности. Приступы этого тяжелого чувства я испытал в своей жизни всего несколько раз, с долгими интервалами, но каждый раз очень болезненно. И долго не мог отдать себе отчета в причинах остроты своих переживаний. Остановлюсь на одном из этих случаев.

Я познакомился с S. во время саббатикала, который проводил в исследовательском центре на другом побережье Штатов. С ней и ее мужем, специалистами по англо-американской литературе, у меня сложились ровные приятельские отношения, и о любовном покушении на эту бледноватую блондинку я не помышлял, мысленно согласившись с характеристикой, которой ее на всякий случай наградила кратко навестившая меня подруга: *frigid*. Мое разгоряченное внимание привлекла, напротив, жгучая брюнетка, приехавшая в наш центр с докладом. Своим интересом я поделился с S. и был немедленно приглашен на парти, которую она устраивала в честь знатной гостьи, своей давней знакомой. Я пришел и провел весь вечер в безуспешных попытках быть хоть как-то замеченным знойной красоткой.

Я мрачно скучал, порывался уйти, а хозяйка старательно меня занимала, удерживала, продолжала участливо поить и кормить. Но вот гости начали расходиться, и постепенно мы остались одни, если не считать мужа, который периодически спускался в спальню, к телевизору — смотреть футбол. Во время рекламных пауз он ненадолго появлялся, но в перерывах наше с S. взаимное притяжение неуклонно нарастало и вскоре достигло уровня откровенных объятий и поцелуев. Когда, уже за полночь, матч кончился, он предложил отвезти меня, якобы пьяного и, значит, не способного водить машину, домой, она вызвалась составить компанию и таким образом получила ясное представление, где я живу.

Приехала она, как и было договорено, уже через несколько часов, на рассвете. Свежая, розовая, сияющая, готовая. Тут-то, выражаясь по-зощенковски, она, фригидность, и не подтвердилась. На акробатических талантах S. я задерживаться не буду — читателю придется поверить мне на слово, потому что, как ни приятно вспомнить, речь ведь и не о них.

Наши утренние, а иногда и дневные сеансы продолжались до самого ее отъезда, — их гранты кончались раньше моего. Любовью, как написала поэтесса, это не называется, но познакомились мы с S. довольно близко. Она занималась чем-то, на мой взгляд, в высшей степени скучным, если угодно, фригидным, — какой-то женской пролетарской литературой середины XIX века. Однако в разговорах неизменно проявляла вкус и, когда я стал излагать ей сюжет писавшегося мной рассказа, легко предугадала пуанту.

Охотно рассказывала о себе. Мне было пятьдесят четыре, ей — тридцать с небольшим, но мой порядковый номер в ее списке не уступал ее в моем. Я не мог скрыть удивления и медицинского любопытства, стал допытываться, как это возможно и вообще откуда такая эквилибристика. Оказалось, что ее в раннем возрасте (цифры не помню) соблазнил то ли отец, то ли друг дома (опять-таки не помню, не хочу врать), что и привело к ускоренному развитию. При всем литературоведческом прогрессизме и феминизме S., в ее отчете не было и тени протеста, ничего, кроме горделивой скромности. Лолита отдыхала.

Прощаясь, мы договорились, что при первой же супружеской возможности она прилетит, билеты за мой счет. Мы перезванивались, предвкушали, и вот наконец она прилетела. Перед этим справилась по телефону, не ревнив ли я, я автоматически ответил, что, конечно, нет, да и где бы тут было место для ревности?!

Все шло хорошо, пока на второй день она не напомнила, что обещала сходить на обед с, как оказалось, живущим в нашем городе старым знакомым. Я отвез ее на место встречи, спокойно ждал ее возвращения, где-то ближе к полуночи она позвонила, что задерживается, но скоро будет, я стал уточнять когда, она мило уклонялась от ответа, я стал требовать, она все не ехала, звонила еще несколько раз, я настаивал все отчаяннее, но с теми же

результатами, в конце концов пришел в полную ярость, попросил вообще не приезжать, однако дверь все-таки оставил открытой, сам же перебрался в другую спальню, ночью к ней не вышел, а рано утром уехал на кампус, где и провел весь следующий день, лишь изредка отвечая на ее униженные звонки предложением без дальнейших разговоров убираться — к мужу, любовнику, куда угодно. Она продолжала виновато ластиться, умоляла приехать, на каком-то витке я сдался, и последнюю ночь мы провели в иступленных содроганиях.

Как сказал бы Хармс: что это было?

Ну, начать с нее — с женщины, этой вечной вещи в себе. Она могла невинно встретиться со старым знакомым, могла неожиданно или заранее запланированно переспать с ним (давним любовником — или недавно приобретенным, вроде меня), могла поступить так из элементарной любви к «этому» или из желания продемонстрировать (себе, мне, ему, всем троим) свою женскую независимость. Набросанная выше картина ее *éducation sentimentale* и *curriculum vitae* позволяет допустить что угодно.

Но речь ведь не о ней, а обо мне и моем взрыве, а главное — о его конвенциональной природе.

Ревнив ли я вообще, сказать затрудняюсь; наверное, да, как все. Но я прекрасно понимаю, что контроль над женщиной немудрено, что при желании она всегда найдет возможность изменить, и потому никаких попыток приказывать, следить, визнавать и т. п. я никогда не предпринимал. Я никогда не считал достоинством (скорее, недостатком) девственность, не ревновал к прошлому, а в настоящем — к мужьям (да это и не принято). Более того, ни о какой любви в данном случае, как было сказано, дело не шло — сугубо о сексе. Что же меня так взорвало? Полагаю, что условная, символическая, так сказать, правовая сторона дела.

Неверность S., реальная ли или воображаемая, состояла в нарушении неписаной, но довольно четкой — как мне казалось и, полагаю, ею осознавалось — конвенции, согласно которой она прилетала именно ко мне, за мой счет, на мою территорию, в отведенные ей рамки моего расписания, становясь таким образом моей временной женой, наложницей, содержанкой, *call girl*,

проституткой. Нарушение моих собственнических, сугубо условных — и, с точки зрения натурального человека вроде Холстомера, очень странных — прав и привело меня в ярость, а ей, возможно, потребовалось именно для демонстративного разрыва этих социальных пут.

Впрочем, за нее говорить не возьмусь, возможно, ей просто хотелось оторвать «этого» побольше, и никакая символика ее не занимала. За себя же могу поручиться, что сильнейший эмоциональный взбрык имел прежде всего символические истоки. Человек, как известно, животное символическое. Символическое, но, как показала моя финальная капитуляция, все-таки животное.

Это я...

Стихи Ахмадулиной, особенно в ее исполнении, я любил смолоду (мы сверстники). Я слышал ее по радио, видел по телевизору и был на одном из ее выступлений (в Комаудитории «старого» МГУ, на Моховой), но знаком с ней не был. Хотя у нас, конечно, были общие приятели, включая одного моего многоречивого сокурсника (ныне покойного видного политолога), утверждавшего, что в десятом классе у них был роман, а также одного зубного врача, тоже порядочного хвастуна. Личного знакомства с Ахмадулиной мне пришлось дожидаться до второй половины 1980-х годов, когда она вместе с мужем, Борисом Мессерером, одной из первых после прихода к власти Горбачева приехала в Америку и провела неделю в Лос-Анджелесе.

К этому времени ее облик, как литературный, так и физический, несколько поблек под действием Хроноса вообще и Бахуса в частности, но объектом восхищенного внимания, как литературоведческого, так и человеческого, она для меня оставалась.

Это было самое начало перестройки, в которую она, как, впрочем, и большинство эмигрантов, не желала верить, и я (вспоминая это с гордостью) пытался защищать от нее Горбачева. Члены нашего небольшого интеллигентского кружка почти в одном и том же составе по очереди принимали ее у себя, так что я мог

наблюдать ее довольно близко. А впереди ожидалось ее сольное выступление перед массовой русскоязычной аудиторией.

Первая встреча произошла в доме общей знакомой, у которой они с Борисом остановились. Это был то ли ранний ланч, то ли поздний завтрак, но Ахмадулина была уже слегка навеселе. Я отрекомендовался ее давним почитателем, преподающим в местном университете русскую литературу, то есть, подразумевалось, представителем ненавистной ей корпорации:

⟨Я...⟩ опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед ⟨...⟩
жена литературоведа,
сама литературовед ⟨...⟩
Ведь перед тем, как мною ведать,
Вам следует меня убить...

Разговор зашел о появившемся накануне в лос-анджелесской «Панораме» целом подвале, специально присланном Аксеновым из Вашингтона. Газету принесли, Борис стал читать.

Статьи у меня, к сожалению, нет под рукой. Помню, что в ней среди прочего рассказывалась легендарная история с туфлей, которую на обеде в Тбилиси в честь делегации московских писателей Ахмадулина запустила в сказавшего какую-то совсем уж невыносимую советскую мерзость соотечественника (Фирсова?), когда увидела, что мужчины решили смолчать: грузины — согласно законам гостеприимства, собратья-москвичи — из осмотрительности. Особый шик аксеновского панегирика состоял в том, что он (не помню, целиком или только в кульминационном эпизоде) был написан ритмической прозой, вероятно, в контрапункт к известному ахмадулинскому фрагменту о встрече с Пастернаком, где в момент его появления — после строчки «Но рифмовать пред именем твоим?» — стих переходит в прозу.

Мессерер, однако, как ни в чем не бывало читал с обычной, монотонно-торопливой газетной интонацией, дескать, ну, ясное дело, хвалит тебя Вася, ну и что? Я вмешался:

— Вы не так читаете.

— Что значит не так? А как надо?

Я взял газету и стал читать, скандируя. Ахмадулина оживилась и сыграла роль вечно обижаемой:

— Вот, ты всегда все неправильно передаешь. Если бы не наш досточтимый гость, я бы и не узнала, что Вася мне стихи напишет...

— Видите, Белла Ахатовна, — подал я приготовленную реплику, — и литературоведы на что-то годятся...

Через несколько дней принимать Ахмадулину была наша очередь. В какой-то момент я подсунул на подпись уже изрядно выпившей гостье экземпляр ее «Снов о Грузии» (несколько скомканная дата под посвящением прочитывается как 19 марта 1987 года). А перед самым ее уходом осмелился наконец задать давно просившийся наружу каверзный вопрос:

— Как вы относитесь к Ходасевичу?

— Хорошо, хотя, наверно, не все знаю. А почему вы спрашиваете?

— А вот эти стихи вы знаете? — Я взял с полки и стал читать «Перед зеркалом»: — «Я, я, я. Что за дикое слово!..»

Ахмадулина слушала внимательно, и, уж не знаю, вопреки ли или благодаря винным парам, эксперимент, поставленный по всем правилам полевой лингвистики, удался на славу. Без каких-либо уверток она сразу, самым трогательным и обезоруживающим образом, хотя и с искренним удивлением, приняла подразумевавшееся предположение о подтексте ее стихотворения «Это я...», написанного тем же размером.

— А что? Знаете? — может быть!..

На другой день было ее выступление, и так получилось, что ехала она в моей машине. Мы вспомнили ее вчерашнее признание, и я стал рассказывать ей, как впервые услышал «Это я...» году в 76-м, в Москве, по телевизору, когда передавался целый ее поэтический вечер. Я был один дома, «Это я...» (тогда еще нетронутое для меня влиянием Ходасевича) читалось, кажется, в самом конце и исторгло у меня слезы. Пришедшая вскоре Таня, обнаружив их следы на моих щеках, долго прохаживалась на ту тему, что вот, мол, оказывается, эта бездушная структуралистская личность может все-таки над чем-то плакать. Интересно, что через некоторое время телевизионный концерт был повто-

рен и те же стихи опять безотказно произвели свое слезоточивое действие.

Когда мы подъехали к огромному центру, снятому под концерт, вход осаждала толпа, спрашивавшая лишний билетик, а внутри нарасхват раскупались сделанные какими-то предприимчивыми людьми ксерокопии десятка ахмадулинских стихотворений — под автограф.

В эффектном брючном костюме, на каблуках, подтянутая и очаровательная, Ахмадулина читала великолепно. Она начала с новых стихов, потом перешла к старым, которые аудитория знала. Я ждал, дойдет ли очередь до «Это я...», и внутренне любопытствовал, какое действие оно на меня окажет. Очередь наконец дошла, но, произнеся: *Это я — в два часа пополудни Повитухой добытый трофей...* —

Ахмадулина запнулась, извинилась и начала сначала. Это повторилось и во второй раз, и лишь с третьего захода она прочла стихотворение до конца. Потому ли или почему другому, но я прослушал его спокойно, не проронив ни слезинки.

На обратном пути она сказала:

— Я подумаю о вас и сбинуась.

Так литературоведение в моем лице вторично вторглось в ее творческую жизнь, но на этот раз уже вполне банальным — палаческим — образом.

Можем уронить

На самой заре перестройки (году в 1987-м) в Америку приехал известный поэт-переводчик З. Тщательно разработанный маршрут постоев у знакомых-эмигрантов должен был своим чередом привести его и в Лос-Анджелес, но он внезапно переменял рейс с вечернего на дневной, сообщил об этом своим сантамоникским хозяевам в последний момент, и они не могли его встретить. Они попросили меня съездить за ним в аэропорт и «подержать» его у нас с Ольгой до вечера.

В аэропорту я легко выделил его из толпы несоветских пассажиров и вскоре понял, с каким человеком имею дело.

— Я вас не знаю. Почему не приехали такие-то? Они обещали меня встретить!

— Они ждали вас вечером...

— Я решил прилететь поскорее. В Чикаго холодно. Как вы меня узнали? По фотографии в книгах?

— Нет, но у нас есть свои методы...

По дороге я изложил ему план действий: он побудет у нас, поест; мы, к сожалению, должны сделать кое-какие дела, но он может отдохнуть на веранде или погулять вдоль океана; а вечером, когда его знакомые вернутся с работы, мы как раз поедem на некий вечерний семинар и забросим его к ним. Но столь скромный церемониал приема не удовлетворил З., который требовал поминутного внимания.

Он начал с того, что придрался к поданной еде — его жена готовит иначе, лучше. Он не отпускал Ольгу готовиться к предстоявшему ей вечером докладу — неужели ей не интереснее с ним? Он стал проситься на семинар — все-таки он имеет некоторое отношение к русской литературе?! Он требовал звонить к его знакомым на работу, чтобы поторопить их... Я как мог парировал его претензии.

— Нет, — сказал он обиженным тоном. — Я вижу, что меня здесь плохо принимают. А ведь я могу в любой момент улететь в Сан-Франциско, где друзья будут носить меня на руках.

Мое терпение начало иссякать.

— Вы знаете, — я назвал его по имени-отчеству, — мы тоже усиленно стараемся вас качать, но, если вы будете брыкаться, можем нечаянно уронить.

Не помню в точности, что он ответил, но предупреждения он явно не услышал. Между тем я решил, что оно будет последним.

Поскольку Ольга, извинившись, все-таки ушла готовиться, он вцепился в меня.

— А вы чем занимаетесь?

— Преподаю русскую литературу в местном университете.

— И поэзию преподаете?

— Случается.

— Ну а вот такие стихи вы знаете?

Захлебываясь от удовольствия, он прочел несколько строф.

— Нет, не знаю.

— Как же так, профессор русской литературы, специалист, а стихов не знаете?

Не брыкаться он просто не мог. Это становилось даже забавно.

— Ну, у вас несколько наивные представления о нашей профессии. Специалист не может, да и не стремится знать всего написанного. Но он, разумеется, должен уметь разобраться в любом предложенном ему тексте, даже если не знает его наперед, — датировать его, атрибутировать и т. д.

— И что же вы, как специалист, можете сказать об услышанном стихотворении?

Драма неотвратимо близилась к развязке, и тем приятнее было растянуть удовольствие.

— Прочтите его, если не трудно, еще раз.

Он не заставил себя просить: стихи ему явно нравились.

— Что же скажет специалист?

— Ну, что можно сказать? Стихи в гражданском, оттепельном духе, грамотные, прогрессивные, но вполне стандартные; написаны где-то между 1957 и 1963 годом. Размер и рифмовка традиционные. Что касается авторства, то однозначная атрибуция невозможна ввиду неоригинальности стиля. Это, конечно, могли бы быть какие-нибудь из менее удачных стихов NN, но его я знаю довольно хорошо, это не его. Значит, так. Если мы согласимся, что NN — поэт второго ряда, то это стихи третьестепенного поэта — эпитгона NN, типичные для рубежа 1960-х годов, незнакомство с которыми простительно.

К его чести, до него дошло. Остаток дня он был молчалив, а на завтра даже извинился перед Ольгой.

Пригов и авокадо

Когда в конце 1980-х годов рухнул железный занавес и бывшие подпольные литераторы стали ездить на Запад, одним из первых на нашем горизонте появился Пригов. В Лос-Анджелесе

он остановился у нас, и в первое же утро мы решили поразить его одним из чудес американской природы. На стол среди прочего мы подали авокадо.

- Дмитрий Александрович, вы, наверно, не знаете, что это?
- Вот это... такое... генитальное?..
- Если вам угодно так выразиться. Это плод авокадо.
- Авокадо? Какое интересное название! Откуда оно?
- Честно говоря, сам не знаю. Посмотрим в словарь.

Я открыл недавно вышедший огромный «Random House Dictionary», в котором было даже слово *glasnost*, и прочел там примерно следующее:

«*Avocado* — от испанского *abogado*, „адвокат“, искаженного контаминацией с мексиканско-испанским *aguacate*, в свою очередь восходящим к *ahuacatl*, что на языке индейцев Nahuatl означает „авокадо“, а также „тестикулюм“».

Почти матерное крещендо *абогадо* — *агуакате* — *ахуакатль* — *нахуатль*, разрешившееся мужским яйцом, неоспоримо свидетельствовало, что холодный концептуалист Дмитрий Александрович Пригов отнюдь не чужд «живейшему принятию впечатлений и быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных», как Пушкин определял вдохновение.

Кухонная латынь

Речь пойдет о потаенном тексте Гениса и Вайля, — невероятно, но есть и такой.

Их тандемом я заинтересовался вскоре по приезде в Штаты. Они писали много, весело и обо всем: эмигрантской прозе и русской классике, 1960-х годах и отечественной кухне, США и других странах; они печатались в русскоязычной прессе, издавали книги и дуэтом выступали на конференциях. Я с пристрастием к ним присматривался. На ренессансную широту их диапазона я не претендовал, но поучиться раскованности хотелось.

Однако в моей белой, по идее, зависти сразу наметились черные пятна. Читать было легко, но верилось с трудом. Сжижению,

а тем более переводу в кристаллическую форму этот веселящий газ не поддавался. Они броско писали об Аксенове, о Соколове и Лимонове, но при попытке принять прочитанное к сведению обнаруживалась отличающая поэзию несоизмеримость с пересказом. Это был, так сказать, дерзкий эксперимент по созданию прозы поэта, держащейся на собственной тяге, без опоры на параллельную поэтическую ипостась авторов.

Про себя я назвал их стиль работы «быстроупак» и, берясь за перо, беспокоился, как бы не вышло похоже. Сегодняшнему читателю, выросшему на Генисе и Вайле, мой тон покажется кощунственным, но в 1980-е годы их двойной профиль не был еще отлит в бронзе, и парижский остряк Толстый пустил в оборот прозвище «Пенис и Гениталис».

(Хоть поздно, а латинская завязка есть. Вообще, латынь вернулась в моду ныне. Началось, наверно, с «Писем к римскому другу» Бродского, а после перестройки обедневшие филологи хлынули в СМИ и, дистанцируясь от журналистского плебса с его маркетингами и киллерами, принялись ставить в конце статей сплошное *vale*. Пародируя чемпиона этого жанра Максима Соколова, Дм. Быков как-то раз выдал: «*Ehexgi monumentum über alles à la guerre comme not to be*». Тут уж, как говорится, *nes plus ultra*.)

Мы были знакомы, встречались на конференциях, они побывали у нас с Ольгой в Санта-Монике и ответили гостеприимством в Нью-Йорке — повозили по городу, показали Брайтон-Бич, а дома (кажется, у Гениса) покормили собственноручным обедом, который венчало фирменное блюдо из акулы. Акула представила скорее познавательную ценность, но за ней последовал незабываемый филологический десерт.

— Хотите мы покажем вам меню древнеримского обеда, которым мы угощали Бродского? — предложил Генис.

Он принес рукописно исполненную карту, и в глаза бросилась грамматическая каша. Мои познания в латыни скромны, но все-таки включают фундаментальную истину о склоняемости существительных и согласуемости прилагательных. А жанровая природа меню такова, что этого, в сущности, достаточно для построения искомых конструкций типа «карп речной» и избега-

ния нежелательных типа «свиной отбивная». (Из самого меню не помню ничего, но за назывной синтаксис ручаюсь.)

Игнорируя знаки, подаваемые тактичной Ольгой, я позволил себе усомниться в некоторых наименованиях, но встретил горячий отпор.

— Вот тут, наверно, должен быть родительный... Откуда вы брали названия блюд?

— Да все правильно. Каждое слово из словаря.

— Но грамматика...

— А Иосифу понравилось.

Как известно, важнее знания представление о границах, отделяющих его от незнания... Диагноз усугубляла ссылка на Бродского — *amicus Plato sed magis amica veritas*.

Кстати, не окончивший школу лауреат, понимая, что его латынь, как у большинства из нас, «паршива» («Письмо Горацию»), осмотрительно полагался на готовые формулы вроде «*Anno Domini*» и «когито эрго сум». Но мог и облажаться, как, например, со стильным заглавием 5-й части «Литовского дивертисмента»: «*Amicum-philosophum de melancholia, mania et plica polonica*». Он позаимствовал его из названия старинной книги, хранящейся в Вильнюсе, и под страницей дал свой перевод: «Другу-философу о мании, меланхолии и польском колтуне». Однако латинский аккузатив *amicum-philosophum* сам по себе не может значить «другу-философу», не хватает предлога *ad*, — Бродский неграмотно обрезал латинское название¹.

Так что взывать к «Иосифу» тут не приходится, и в любом случае *quod licet Iovi, non licet bovi*. Да и неизвестно (теперь уже навеки), что именно ему «понравилось» — концепт, эпиграфика, гастрономия или добрые намерения поклонников, которых шеф-повар мировой поэтической кухни не стал, в отличие от меня, алиенировать. *Suum cuique*.

Широкий разлив их славы в метрополии меня озадачил, но Катя предложила объяснение: они выполняют важный социаль-

¹ «*Responsum St. Bisii ad amicum philosophum de melancholia, mania et plica polonica sciscitantem*» — «Ответ Ст[ефана] Бизио другу-философу, интересовавшемуся меланхолией, манией и польским колтуном».

ный заказ. Русские люди открыли для себя Запад, побаиваются его, а Генис и Вайль популярно заверяют, что нет, не страшно, мы там были, это — так, а то — так, все понятно, бояться нечего. Они, конечно, привирают, но тем увереннее чувствует себя читатель, догадываясь, что надо будет — и Древний Рим распатроним.

Полный текст их латинского опуса остается, насколько я знаю, неопубликованным, и читателю придется пока что довольствоваться моими свидетельствами, как в случае древних авторов, дошедших до нас в отрывочных упоминаниях. *Feci quod potui, faciant meliora potentes.*

Китти

Она была подругой-коллегой Ольги, к которой я тогда начал летать на уик-энд с Восточного побережья. Но в одну из пятниц Ольга не могла меня встретить — на это время было давно назначено заседание редколлегии их феминистского журнала, и в аэропорт она прислала дочку. Я был уже в ее санта-моникской квартире, когда они пришли вместе с Китти, захавшей на минутку, чтобы наконец на меня посмотреть.

Мы сразу понравились друг другу. Как сейчас вижу ее большую голову, высокий лоб, живые зеленые (кажется, благодаря линзам) глаза, малиновые губы и хрупкую фигуру. Она была еврейка, и все в ней было понятно без слов. Ольга представила нас, и мы охотно поцеловались.

Я спросил, как прошло неотменимое заседание, и они стали наперебой рассказывать, что оно затянулось из-за дискуссии о моральной допустимости оргазмов до полной победы феминизма. Я внес свою лепту, сказав, что эта проблема интересна и с эротической точки зрения, но так долго держать эрекцию дано немногим. На прощанье мы с удовольствием поцеловались еще раз.

Когда я переехал к Ольге, мы стали видеться чаще, в гостях друг у друга, на парти и при совместном посещении кинотеатров. Китти занималась латиноамериканской кинематографией, а ее муж Стив, беглый венгерский еврей, кино снимал. Рано

сделав академическую карьеру, он был уже «полным» профессором киноведения в Стэнфорде, но потом бросил университет, чтобы посвятить себя съемкам, тем более что Китти была богата и денег хватало. Стив был маленький, носатый, слегка гнусавый, с плохим запахом изо рта, очень энергичный и тоже понятный. Непонятнее всех была Ольга, устраивавшая мне сцены по поводу неурочной отмены похода в кино — «Ты просто не понимаешь, как это неудобно», — хотя простоты не хватало именно ей.

Простота состояла, в частности, в том, что у Стива все время были какие-то дамочки на съемках и что мы с ним это хорошо понимали; что Китти одновременно ревновала и не любила его, особенно за то, что он живет за ее счет, хотя стыдливо скрывала это; что мы с Китти элементарно нравились друг другу и тоже оба это понимали, с той разницей, что я прямо говорил ей об этом, обнимая, целуя и подробно ощупывая ее при каждом возможном случае, а она, почти не сопротивляясь, констатировала, что да, налицо взаимное влечение, но главное — это что мы оба любим Ольгу.

Несколько раз дело, казалось, шло к роковой развязке, но в последнюю минуту Китти останавливали моральные колебания. Оргазм откладывался.

К сексуальным переговорам наше общение не сводилось. Стив и Китти купили новый дом в дорогом районе, интересной модернистской архитектуры, с эффектной древесной обшивкой. На новоселье я познакомился с ее родителями, приехавшими из Нью-Йорка. Особенно мне понравилась мама, в свое время явно красотка. Ее звали Мими, у нее были накладные черные волосы, держалась она кокетливо и вспоминала, как юной медсестрой женила на себе своего босса-дантиста, будущего отца Китти. Китти немного стеснялась ее самоуверенной вульгарности, помалкивавший отец, видимо, тоже.

Не ограничиваясь феминизмом, Китти исповедовала весь спектр либеральных взглядов. Она могла осудить фильм за то, что в нем отсутствовали *third world values* — идеология третьего мира. Она восхищалась сандинистами, горячо отвергая мои возражения:

— Что вы можете знать о сандинистах? Вы же не были в Никарагуа и даже не знаете испанского!

— Китти, — говорил я. — Мне очень нравится ваш дом, и я хочу, чтобы в нем жили вы, а не сандинисты, которые, придя к власти, обязательно его отберут. Если же вы считаете, что сандинисты хороши только для никарагуанцев, то это вообще аморально, гораздо аморальнее, чем отдаться мне при живой Ольге.

Потом у нее обнаружили рак. Она интенсивно лечилась, одну грудь пришлось отрезать, зато дело вроде пошло на поправку, и она держалась бодро. Как-то мы танцевали, я погладил ее грудь и спросил, которая настоящая.

— Настоящая — правая, а это такой лифчик.

В состоянии ремиссии она поехала на год в Испанию заниматься испанским кино — это был давно вынашивавшийся проект. Но там ей стало хуже, и она не сразу, но вернулась.

Сначала она была как будто ничего, ходила, отвозила дочку в школу, сама ездила на химиотерапию. Но ощущение безнадежности сгущалось. И на очередное предложение секса она согласилась без разговоров. Она пришла, деловито разделась. Тело у нее было еще вполне женственное, небольшая правая грудь от поцелуев ожила, расправилась, все шло хорошо, но надо всем витал дух обреченной решимости. Одеваясь, она так и сказала:

— Я решила, что мне это полагается и откладывать больше нельзя.

Вскоре ей стало хуже, а потом совсем плохо, и следующие несколько месяцев она провела уже в больнице. Ольга ездила к ней и сказала, что хорошо бы поехать и мне. Я поехал.

Свет в палате был притушен. Китти полусидела-полулежала в какой-то сложной машине, к ней были проведены капельницы и другие трубки. В уборную она еще вставала, но, по сути дела, уже жила в этом устройстве.

Ясно было, что мы видимся в последний раз. Обо всем и всех она говорила спокойно, кроме Стива.

— Я его ненавижу.

— За что?

— За то, что ему все достанется.

Когда она умерла, ей не было сорока.

Вопрос выбора

Мы познакомились, когда я приехал со своим job talk — докладом, на основании которого решается, брать ли тебя на работу. Меня взяли, причем она, влиятельная специалистка, правда, не по русской, а по англоязычной литературе, в основном американской поэзии XX века, сыграла в этом самую положительную роль. И с тех пор я всегда видел от нее только хорошее, так что в нижеследующих прикапонах нет ничего личного, никакого сведения счетов, а плоды одной только — как бы это поаккуратнее выразиться — наблюдательности с пристрастием.

Она сразу же поразила меня темпом своей речи. С лекторской ли трибуны, с места ли, за обеденным ли столом или при случайной встрече — она всегда говорила с пулеметной скоростью — a mile a minute, сто слов в минуту. Говорила обычно все самое доброжелательное, благонамеренное и востребованное, но с непонятным, совершенно непропорциональным возбуждением. А вот слышала ли других, не уверен, потому что, когда я стал на пробу пребывать ее провокационными комментариями, ее бурного потока это не останавливало.

В споры об американской поэзии я, понятное дело, пускаться не смел, но, когда она вдруг заговаривала о том, как велик не только, ну ладно, КлЭб-никофф (ради которого она даже немало изучала языка ирокезского), но и Кру-ченикк, я иной раз позволял себе въедливые оговорки. Но ее это ни в коей мере не колебало.

Или когда во время первой предвыборной кампании Обамы она, взяв меня в коридоре за пуговицу, стала повторять:

— We are excited about Obama! I'm excited!! Are you excited? We are all so excited!!! — я, дождавшись некоторой полупаузы, вставил, что нет, возбуждения не разделяю.

— Но это же будет первый черный президент!!!

На что я выдал давнюю, все не находившую публично применения заготовку:

— Ну, я не расист и не декоратор, чтобы руководствоваться цветовой гаммой.

Реакции это не вызвало никакой и последствий для наших отношений не имело; она еще немного поговорила про волнующие перспективы избрания Обамы, и мы побежали каждый в свой класс.

Ее внешность и манеры располагали. Она была смешлива, добродушно-толста, с маленькими живыми глазками и немного собачьим — но не страшным, рычащим, а, скорее, забавным, тьявкующим — выражением лица. В ней не было ничего threatening, угрожающего, arrogantного — залог социальной приемлемости.

И она была необычайно успешна. Печатала по книжке в год, была всюду желанна, однажды вдруг захотела перейти в Стэнфорд и была встречена там с распростертыми объятиями, а через какое-то время решила вернуться в наши скромные пенаты (причины не помню) и радостно принята назад.

Собственного мнения о ценности ее работ у меня не было и нет, но в ее полемике с другой видной специалисткой сходного профиля (и к тому же ведущей шекспироведкой) я мысленно брал сторону этой второй, впечатлявшей меня основательной структурностью аргументации (студенткой она склонялась к химии и математике), тогда как моя знакомая упирала на гуманитарно-прогрессивно-авангардные достоинства своих подопечных (узнавалась хлебниковская закваска).

Успешна она была во всем. У нее был выдающийся муж, две делавшие отличную карьеру дочери (одна, правда, в основном по ее протекции), замечательный дом с опоясывающей верандой над ущельем. В этом огромном доме она устраивала шикарные parties для коллег и друзей, с кейтерингом, неграми-официантами в белых перчатках, все как в лучших домах Филадельфии.

Разговоры за столом были самые литературные, и в них заметная роль отводилась ее, как уже было сказано, выдающемуся мужу. Выдающимся он был, однако, в области не филологии или чего-нибудь подобного, а медицины — сердечно-сосудистых заболеваний. Он был заслуженно знаменит, и в дальнейшем его имя было посмертно присвоено тому институту, который он долгое время возглавлял.

Но за столом он говорил не о кардиологии, а о литературе, о модернизме и постмодернизме, не обязательно повторяя ее мысли и работы, но в том же глубокомысленном, широкоформатном, благопристойно-гуманитарном ключе. Меня его речи забавляли и слегка раздражали, но я все никак не мог понять почему. Ну, вумные благоглупости, ну, застольная гуманитария, *dinner speeches*, ну и что? Ведь денег он за это не требовал, напротив, угощал слушателей на славу, да и делалось это в соответствии с доброй культурной традицией, где специалист не подобен флюсу, а способен еще и забросить мяч в баскетбольную корзину, и на хорошем уровне, в духе *liberal arts*, потолковать о Ювенале, Элиоте, Дюшане, а там и Хлебникове. Все было как надо, но продолжало вызывать зуд неблагодарного любопытства.

Любопытство это усилилось, когда хозяйка однажды упомянула, что на недавней международной конференции по современной поэзии где-то в Европе выступала не только она, но и он, и очень удачно. Все, разумеется, немедленно выразили дополнительное восхищение, а я задумался еще напряженнее.

Ну, в том, чтобы поехать на конференцию заодно с лучшей половиной, причем за счет устроителей, нет ничего необычного. Но в финансовой смете великого кардиолога такие соображения вряд ли чего-то стоили. Нет, тут просматривалось типично ренессансное желание поговорить на темы, посторонние его основной, бесспорной, специальности, — поговорить и быть услышанным соответствующей профессиональной аудиторией, пусть, что по-английски называется, *captive*, «пленной», слушающей в добровольно-принудительном порядке.

Желание поговорить их явно роднило, хотя внешне они были скорее не похожи. Оба происходили из еврейских эмигрантских семей (она родилась в Вене, а он — в Штатах, но окончание его фамилии не оставляло этимологических сомнений). Он был среднего роста, немного ниже нее, с очень прямой фигурой и шеей, с большими выразительными глазами под густыми бровями на внушительном и красивом лице. Тем не менее, если бы не автоматическое почтение к его научному статусу, по внешнему виду я бы отнес его к той категории, про которую евреи позволяют себе говорить, что вот, увы, нельзя не признать,

бывают, знаете, и глупые евреи. Или, пользуясь другими, но, как оказывается, тоже с еврейским душком, категориями, он производил впечатление зимнего дурака — не летнего, нараспашку, очевидного сразу, а зимнего, в мехах, припорошенного снегом¹, а выражаясь совершенно уже по-американски — впечатление *rottrous ass*, помпезно надутой задницы. (Недавно я в энный раз посмотрел фильм Вуди Аллена «Ханна и ее сестры», и там мне его напомнил дубоватый отец трех героинь; его играет Ллойд Нолан.)

Но все это исключительно за столом, между делом, в свободное от работы время, а медицинским светилом он был наверняка первой величины и умер хоть и от чего-то сердечного, но все-таки в возрасте восьмидесяти девяти лет, а с этим не поспоришь. Она же между тем, тьфу-тьфу, жива, я как-то видел ее в поликлинике, оказавшейся у нас общей (что меня обнадежило — уж она-то вряд ли станет лечиться во второсортной).

Кстати, после этой встречи я опять задумался, в чем же все-таки состояли мои странные претензии к его литературным мечтаниям, и меня наконец осенило.

Дело было не в том, что он говорил, — аналогичные благоглупости я более или менее охотно прощаю его жене и другим филологам, предусмотрительно не исключая из этого легиона и самого себя. Что поделаешь, работа у нас такая, ничего лучшего мы делать не умеем. Но его-то что заставляло нести эту вымощенную благими намерениями туфту?! У него же была в руках настоящая, причем действительно благородная профессия — ни больше ни меньше как спасение человекoв!

Или и впрямь есть что-то такое в нашем сомнительном деле, какое-то, что ли, уловление, можно сказать, душ?! И медицина бессильна?

¹ Об этих двух типах дураков см. на с. 245.

Там и тут

Поэзия и правда

В год 100-летия ПАСТЕРНАКА и день 30-летия ЕГО смерти я оказался в Москве и присутствовал при открытии мемориальной доски на доме, где он родился, — около площади Маяковского. Перед домом собралась небольшая интеллигентная толпа, человек сто; с импровизированной трибуны выступали представляемые Андреем Вознесенским видные поэты и культурные деятели, среди которых помню Зиновия Гердта. Все они говорили о том, как много значила для них поэзия Пастернака, все читали наизусть его стихи, свои самые любимые, и все рано или поздно перевирали текст. Это становилось интересным, потому что с каждым новым оратором возрастала вероятность исключения, но исключений все не было.

Кульминация наступила, когда знаменитый, ранее самиздатовский, поэт N, примерно моих лет и мне лично знакомый, стал читать «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...». Он читал своим низким, громким, мрачно-монотонным, почти угрожающим — «пиитическим» — голосом, и я, забыв о своей издевательски-экзаaminаторской роли (уж у него-то я не мог рассчитывать на ошибку), задумался о давно занимавшем меня противоречии между бравурной мужественностью пастернаковского стиха и его гораздо более двусмысленной, женственной, что ли, подоплекой. Сам я тоже декламировал его в тяжелозвонком ключе, пока не услышал поразившую меня запись его собственного

чтения «Ночи» («Идет без проволочек...») — на высоком, неуверенном, слегка капризном, как бы гомосексуальном распеве...

Между тем N, продолжая гудеть в своей чеканно-вызывающей — хочется сказать, маяковской, но, пожалуй, более ровной, ибо неоклассической, петербургской, скорее, гумилевской — манере, приближался к концу и тут, дойдя, так сказать, до «пузырей земли», вдруг сделал мне бесценный подарок. «Звезды медленно горлом текут в пищевод...» — по-прусски печатаая шаг, промаршировал он по потрясающей именно своим ритмическим сбоем строчке, где вместо регулярного «медленно» у Пастернака проходит синкопированное, хромающее на один недостающий слог «долго»...

Такое смазывание тонкостей оригинала очень показательно, ибо, возвращая структуру назад к ее преодоленным банальным источникам, наглядно демонстрирует, в чем именно состоял острабяющий творческий ход. Помню, как в занятиях Окуджавой мне помогало различие между причудливой мягкостью его собственного исполнения и той то по-туристски бодрой, то по-солдатски обреченной, но неизменно ровной, дисциплинированной, кованной маршеобразности, с которой его пели — хором, в ногу — мои друзья диссиденты-походники. «Вы слышите, грохочут сапоги...» пелось, шагалось и судилось с точки зрения сапог, хотя, видит Бог, вся соль Окуджавы именно в христианизующей смене военно-патриотической героики тихой любовью, грохочущих сапог — старым пиджаком.

Непростительно это, в общем-то, только поэтам и литературоведам. Потому что массовое потребление всегда склонно стащить новое, да и вообще особенное, с его котурнов и вернуть обратно в общую колею. Сплошь и рядом это происходит при переводе на иностранные языки. Подбирая переводы цитат из русских классиков для своей английской книги, я был поражен, сколь редко тот эффект, ради которого привлекалась цитата, наличествовал в переводе. Получалось, что в отношении стиля зарубежный читатель имеет, как правило, дело не с Лермонтовым, Гоголем и Чеховым, а, так сказать, с Марлинским, Одоевским и Потапенко.

В «Поэзии и правде» Гёте посвящает несколько горьких страниц тому, как успех «Вертера» был отравлен для него настоящим желанием восхищенных друзей, знакомых и широкой публики допытаться, «как же все обстояло в действительности? Я злился и по большей части давал весьма неучтивые ответы. Ведь для того, чтобы удовлетворить их любопытство, я бы должен был растерзать свое творенье, над которым я столько времени размышлял, стремясь придать поэтическое единство разноречивым его элементам (...) Впрочем, если вдуматься хорошенько, публике нельзя было ставить в вину это требование...»

«[Если] я, преобразовав действительность в поэзию, отныне чувствовал себя свободным и просветленным, то мои друзья, напротив, ошибочно полагали, что следует поэзию преобразовать в действительность, разыграть такой роман в жизни и, пожалуй, еще и застрелиться» (Книга 13-я).

Эти страницы запомнились мне не только потому, что так задолго предвосхитили русских формалистов. Был у меня и самолюбивый личный интерес. Однажды мне тоже довелось подвергнуться расспросам (разумеется, не столь массивным) о том, кто есть кто в моих рассказах и как там было на самом деле. Это было очень обидно — мне явно отказывали в претензии на искусство, а никаким таким особым успехом я прикрыться не мог. Слабое утешение пришло, лишь когда, перечитывая Гёте, я понял, что и успех ничего не гарантирует. Ни успех, ни авторитет, ни столетняя годовщина и мемориальная доска — против нивелирующего лома нет приема.

Хотя вроде бы, раз уж «Вертер» написан, неплохо бы научиться его читать.

Длинные руки

Году в 1998-м я говорил по телефону с уважаемым мной коллегой-славистом, в свое время диссидентом, высланным из СССР и при первом послеперестроечном визите на родину лишь по оплошности КГБ не подвергшимся аресту, о чем мы и вспомнили в нашем разговоре. Потом речь перешла на его и мои по-

следние работы, взаимную присылку книг и оттисков, и он продемонстрировал знакомство с моей ахматоборческой статьей в «Звезде», одобрительно о ней отозвавшись. Я поблагодарил его за поддержку, ценную как по существу, так и прагматически — ввиду ее редкости.

— Хочу уточнить, — сказал он, — что поддержка эта, хотя и искренняя, является сугубо частной, публично высказать ее я бы не решился.

— Позвольте, но ведь это в точности как с хрущевским докладом о Сталине: культ личности разоблачается, но доклад остается секретным.

— Да, это так, — охотно признал он.

— Как же вы с этим живете, вы, не боявшийся КГБ?

— Видимо, Ахматова посильнее КГБ!

— Чем именно — тем, что любовь к ее стихам делает для вас нежелательным какое-либо обсуждение ее личности?

— Да нет, стихи — дело особое... Дело именно в боязни открыто занять эту позицию. Вы, впрочем, можете опубликовать наш разговор, не называя моего имени, и хотя бы таким образом я послужу делу свободы совести.

— С вашего позволения, так и сделаю.

Страх моего американского коллеги — очередное подтверждение власти того, что я назвал «институтом ААА». В этой власти нет ничего мистического. Если мой коллега посмеет высказать свое мнение вслух, его, полного профессора престижного университета, с работы, конечно, не выгонят, но в русскоязычном истеблишменте могут перестать приглашать, печатать, признавать за своего...

У Ахматовой длинные руки.

Язык и речь

Когда в начале 1990-х годов я впервые выступал в РГГУ, это было еще в новинку, и народу пришло много. Я старательно — с «американской деловитостью» — уложился в отведенные 45 минут, но первый же коллега, взявший слово в прениях, прогово-

рил целый час, и публика стала таять. Содержание его полемики показалось мне хотя и вредным (он утверждал, что того, что я делаю, «делать нельзя»), но не столь страшным (ведь я, не дожидаясь его разрешения, уже сделал то, что намеревался), как ее неумолкаемость (посильнее, чем у мандельштамовской цитаты-цикады).

Прагматика дискурса устроена так, что содержание, как правило, условно — оно всего лишь символизируется, обозначается текстом, форма же реальна — она в буквальном смысле слова осуществляется, исполняется, так сказать, наносится слушателям. (В английском есть даже стандартная полушутливая формула академической вежливости: «I am not going to inflict the full version of my paper on you...».)

После ухода моего оппонента (известного ученого и либерала с почтенным диссидентским прошлым) организаторы как могли извинялись за него. Я как мог сохранял дипломатическую невозмутимость.

— Вы не обижайтесь. Он всегда говорит долго.

— Я не обижаюсь. Я вижу, что это человек, у которого единцей языка является речь. Соссюр бы меня понял...

Через пару лет я снова делал доклад в той же аудитории. Не успел я кончить, как на сцену решительно направился тот же оппонент. Столь полного дежавю я как-то не ожидал (к тому же народу было меньше, так что каждый слушатель был на счету), и у меня вырвалось что-то вроде:

— Как, вы опять будете говорить дольше меня? Нет, это немислимо.

Я повернулся к задремавшему председателю (не знаю, что сказало сильнее — прочитанный мной доклад или совершенный им накануне перелет из Южной Америки):

— Сколько у нас времени для выступающих в прениях? — И тут же огласил якобы услышанный ответ: — Десять минут.

Оппонент это проглотил и нашелся только сказать:

— Ну, тогда комплименты я опускаю...

— Да-да, переходите прямо к ругани. А за временем можете не следить, я вам сам скажу.

По истечении десяти минут он стал закругляться и последние слова проговорил, уже пятясь на свое место. Дискуссия продолжалась с участием других коллег, говоривших с места, мой оппонент еще несколько раз высказывался, так сказать, на общих основаниях и одно из своих полемических заявлений закончил словами:

— Зато я уложился в регламент.

— Не вы уложились, а я вас уложил.

Неумолкаемость моего оппонента давно стала в Москве притчей во языцех, но, когда его пытаются урезонить, он отвечает, что слишком долго молчал (понимай: при советской власти) и теперь имеет право выговориться.

Ссылка на «права» довершает картину. Программа у него запретительная (того-то думать «нельзя»), манера — монологическая (меня перебивать не смейте), мышление — блатное (я молчал, теперь вы помолчите), а самообраз при всем при том — демократический.

Очень характерен здесь элемент садистической сознательности. Еще ладно бы, ну заговорился, кто считает, что за занудство. Но нет, он в точности знает, что делает, и наслаждается этим.

Его подразумеваемый message состоит, как у Фиделя Кастро, в том, что мы хотим, чтобы он продолжал, — рассказывай еще, тебя нам вечно мало... Ему, конечно, известна знаменитая формула, что способность долго не кончать — талант, нужный любовнику, но не оратору. Однако к себе он ее не относит. Другим хватит отведенного времени, но его — заслушаешься. Он любим, его чем больше, тем лучше. Логика, в общем, несложная: понасилую — стерпится — слюбится.

Он не уникален, разве что чересчур нагляден. Более утонченный вариант «желанного насилия» демонстрирует один мой видный, ныне американский, коллега (тоже бывший диссидент), который, несмотря на свое величие, всегда добросовестно укладывается в регламент. Он даже делает это несколько раз в течение конференции, ибо, вопреки цивилизованному порядку, одним докладом не ограничивается. Разумеется, он ни при чем, — его «просили». (Впрочем, в России в годы застоя в роли завсектором он заставлял по два часа ждать себя и не начинать заседания

с приглашенным докладчиком и специально собравшимися слушателями. И ждали. Чувствовали в этом некий кайф, причастность к чему-то такому, чего не жалко и подождать. Ведь лучшего применения, нежели ожидание великого человека, для времени и не придумаешь.)

Другой мастер изнасилования в перчатках (по-прежнему и принципиально российский и к тому же активный демократ) еще более корректен: он выходит на трибуну со складным будильничком. Но это уже мало кого обманывает.

— Ну все, — прошептал мне на ухо на международном симпозиуме коллега-слушатель. — NN вышел с часами, это надолго.

Особый садистский шик выступлениям NN придает частое употребление по ходу доклада слова «регламент». Услышав его, истомившаяся аудитория вздрагивает в надежде, что избавление близко, но вскоре убеждается, что в идиолекте докладчика «регламент» является специальным термином — приблизительным синонимом «режима в литературе» (разумеется, репрессивного, сталинского).

Однажды мне пришлось прослушать полуторачасовой заключительный доклад NN на конференции, где он был главным организатором и хозяином (а его жена — председателем данного заседания), — при регламенте 30 мин. Когда выступление перевалило за часовую отметку, я почувствовал, что начинаю корчиться на стуле и вот-вот не выдержу — заору «Регламент!» или чего похлеще. Я уже открыл было рот, когда услышал свое имя: докладчик заговорил о моих сочинениях. Теперь перебить его я уже не мог...

В кулуарах я все-таки прошелся на эту тему.

— Да-да, — сказал NN. — Я рассчитал, когда ты можешь не вытерпеть...

В основе такого поведения «лучших людей» лежит, конечно, глубинное неприятие буржуазных ценностей — деления всего вообще и времени в частности на твое и мое. На Западе тебя уважают и ты себя уважаешь тем больше, чем большее уважение ты проявляешь к правам, территории и собственности другого. Но в России, с ее романтико-ницшеанским культом беспредела, по-прежнему ценится пренебрежение к стеснительным и скуч-

ным нормам. Научное заседание мыслится не как упорядоченная процедура, в рамках которой председателю, докладчику, слушателям и участникам прений отводятся совершенно определенные роли и ограниченные отрезки времени, а как удобный плацдарм для прорыва, как возможность сказать наконец последнее, непререкаемое, пророческое Слово. Одним из неосознаваемых источников такого отношения к процедуре является, я подозреваю, со школьных лет засевшая в памяти формула из советского учебника истории о том, как Степан Халтурин (или Вера Засулич?) превратил свой судебный процесс в суд над обвинителями.

Эффект бабочки

С Питером Мэннингом, профессором английской литературы, мы познакомились в мужском туалете на четвертом этаже нашего Тейпер-холла. То есть издавек мы кивали друг другу и раньше, но впервые разговорились именно там.

Фамилия Питера — прямое воплощение мужественности, да и сам он, несмотря на невысокий рост, смотрелся молодцом. Со смуглым лицом, черной как смоль бородой и орлиным носом, он наводил на мысль не о типичном американце, а о южанине-полуфранцузе или об ирландце из числа обогащенных генами с Великой армады. Я тоже, еще с советских времен, носил бороду, и это послужило лишним поводом для знакомства.

Его жена Сильвия была, напротив, безусловно англосаксонской рыжеватой масти. По образованию тоже литературовед, она, однако, не преподавала, а работала где-то в высших эшелонах администрации. Тем не менее она вполне по-женски носила фамилию мужа и держалась с известной долей кокетства, которому ее репутация влиятельного игрока на университетском поле придавала добавочную пикантность. Власть, как известно, мощный афродизиак.

Когда Ольга познакомила нас на каком-то начальственном ланче, мне сразу бросилось в глаза, что они обе отдают себе отчет в силовом потенциале друг друга и постоянно прикидывают

его на мысленных весах, готовые как к сотрудничеству, так и к соперничеству. В этом ключе я истолковал и посылавшиеся мне Сильвией флюиды, на которые отвечал дипломатичным молчаливым отказом. Да особого выбора ситуация мне и не оставляла: предавать при таком раскладе Ольгу было бы последним делом, тем более что неожиданным интересом к себе я был обязан, конечно, ей и намечавшемуся параллелограмму сил, а никак не собственной неотразимости.

Сближение в туалете произошло самым непринужденным образом. Там тесновато, и в ходе деликатных взаимных перемещений я поделился с Питером слышанным мной еще в Корнелле каламбуром: профессор, которому один из аспирантов стал уступать место у писсуара, возразил: «No, no, please — we are all peers here!» («Что вы, что вы, мы все тут равны — писатели!»). Это задало тон нашему знакомству, его мы в дальнейшем и держались.

Мужской туалет, хотя и является локусом одного из перлов советского фольклора — анекдота с концовкой «В нашей системе ведь такие интриги, такие интриги!», — в роли литературной корчмы далеко уступает женскому, где, если судить по американскому кино, то и дело происходят обмены секретами, переодевания, изнасилования и убийства. Под названием «The Powder Room»¹ выпускаются книги, ставятся пьесы, снимаются фильмы, создаются компании, функционируют веб-сайты... Мужская мифология тяготеет скорее к бане, сауне, спортивной раздевалке. Но не надо сбрасывать со счетов и сортир, — в конце концов, именно там Хемингуэй дал Скотту Фицджеральду историческую консультацию по вопросу о размере его мужских достоинств. Впрочем, у нас с Питером о столь волнующих материях речь не заходила, знакомство оставалось чисто светским.

Между тем шли годы, наступила перестройка, я стал ездить в Россию, и в один из приездов моя бывшая возлюбленная сказала мне, что все хорошо, только она не понимает, зачем мне борода, которая меня отнюдь не красит, скорее наоборот. Я всегда ценил ее мнение по самым разным вопросам, а уж в таком доверял

¹ Дамский туалет, букв.: пудренная комната (англ.).

безоговорочно. Придя домой, я в последний раз полюбовался в зеркале на свою бороду и принялся за дело, пустив в ход сначала ножницы, а затем электробритву. Разделавшись с бородой, я немного поколебался, не оставить ли усы, но с усами я становился похож на одного малосимпатичного приятеля, так что пришлось удалить и их.

После этой операции щеки некоторое время неприятно выделялись своей бледностью, но в конце концов загорели, и я постепенно вжился в свой новый образ. Перипетии взаимоотношений с моей Далилой, да и всю прочую сопутствовавшую этой метаморфозе лирику я, пожалуй, опущу, чтобы перейти непосредственно к замыканию композиционной рамки.

Вернувшись в Калифорнию и приступив к занятиям, я вскоре столкнулся в уборной с Питером. С первой встречи, повторяю, прошли годы, но он был все так же импозантен, разве что в жгучей черноте его волос засверкал первый иней.

— Алекс, а где же борода?

— Понимаешь, одна очень милая москвичка объяснила мне, что молодого человека борода молодит, а старого — старит.

— Да? Как интересно, — сказал Питер, и на этом мы расстались. А когда парой дней позже столкнулись снова, бороды у него не было.

Это уже почти все, но не совсем. Через какое-то время, наверно в следующем семестре, я обратил внимание, что совсем не вижу Питера. Я стал спрашивать о нем, и выяснилось, что он развелся с Сильвией, женился на своей аспирантке и уехал с ней в небольшой университетский городок в соседнем штате. Сильвия тоже вскоре исчезла с горизонта. А там разошлись и мы с Ольгой, и она тоже уехала, даже в еще лучший университет.

Ольгу я иногда вижу на конференциях, а Питера совершенно потерял из виду. Более того, не хожу я и в тот туалет на четвертом этаже — не только потому, что нашу кафедру перевели на второй, а главным образом потому, что в системе университетских туалетов произошла крупная реформа. Профессорско-преподавательскому составу выделены особые одноместные туалеты и выданы ключи к ним, так что рядовым студентам туда входа нет, и корнелльский каламбур теряет силу. Правда, отдающее

британской кастовостью слово *keyholder* (почтительно выученное мной на заре эмиграции при посещении знаменитых своими оленями оксфордских парков, ради чего моим хозяевам пришлось выявить среди своих знакомых ключевладельца) не прозносится, но факт остается фактом: некоторые более равны. Privacy растет, общение страдает.

Народ книги

Я любил смотреть телевизор, Катя нет. Начитанная (как и приличествует «коэну» — потомку Аарона), она отказывалась смотреть даже образовательные программы.

Как-то вечером шла передача о легендарном *escape artist* начала века Гарри Гудини (Houdini).

— Катя, иди смотреть, тут документальная хроника, — кричу я сверху.

— Кончится, расскажешь.

— Катя, скорее, тут кое-что интересное выясняется!

— Ну что там может выясниться? Что он еврей?..

— Как ты догадалась?

— А что еще может выясниться?! Все остальное и так известно.

Оказалось, что Гудини — псевдоним Эриха Вайсса (Erich Weiss), еврейского эмигранта, с еврейской мамашей, позаимствовавшего свое звучное имя у знаменитого предшественника, Робер-Удена (Robert-Houdin), разоблачению магии которого он посвятил одну из своих книг. Он собрал уникальную библиотеку по магии и фокусничеству и завещал ее Библиотеке Конгресса.

В другой раз была передача о Нострадамусе.

— Катя, иди смотреть, очень интересно.

— Когда выяснится, что он еврей, скажешь.

— Уже...

Такое выясняется, как правило, близко к началу, потом герой и сам забывает о своем происхождении. Нострадамус был кре-

щен и со своей ультракатолической фамилией (так сказать, «Богородицкий») был принят в медицинскую школу. Литературное его наследие известно — даже моей парикмахерше.

Очередным объектом выяснения стал аббат (!) Лоренцо да Понте, либреттист «Фигаро» и «Дон Жуана». Имя он взял у монсеньора, крестившего его и братьев вместе с отцом, когда тот после смерти первой жены захотел жениться на католичке. Моцартовский эпизод был одним из многих в жизни да Понте. Последние три десятка лет он прожил в Америке, где торговал вином и книгами, основал итальянскую кафедру Колумбийского университета и Итальянскую оперу и написал книги по итальянской литературе и «Мемуары».

На телефильм о кровожадных Борджиа я заманивал Катю как художницу — обилием картин и интерьеров, но она держалась твердо. По окончании я спустился к ужину.

— Я, помнится, где-то читала, что Борджиа были из испанских евреев...

— Ну, это ты зарываешься. Ничего такого не выяснилось. Проверим.

Я достал две увесистые еврейские энциклопедии — одну российскую, царских времен, другую сравнительно новую, американскую. Борджиа в них не было.

— Это, конечно, не доказательство, — сказал я. — Энциклопедии однотомные. Надо посмотреть в полную. Но если и там не будет...

— Там будет. Полная еврейская энциклопедия тем и отличается от однотомной, что в однотомной еврейями оказываются некоторые, а в полной — все.

P. S. Семейству Борджиа не помогла и полная. Это бывает. Даже с выходцами из Испании. Вот и Лимонову пришлось написать о себе: «Такой интеллигентный нееврей».

Но, что характерно, сбой произошел по ветхозаветной формуле 3+1, обычно (например, в Книге Даниила) применяемой для особо сильного взлета на четвертом витке. Ссылки на литературу опускаю.

Диагноз

Среди приятелей на родине я слышу ультразападником, но, конечно, знаю за собой неистребимые пережитки почвенничества. Я люблю останавливаться не в гостинице, а у знакомых, и вообще полагаться на личные связи — будь то починка компьютера, ремонт квартиры или сбор материала для статьи. Со своей стороны, я исправно устраиваю приезжим соотечественникам лекции, встречаю их в аэропорту, поселяю у себя, кормлю, пою и развлекаю. В одних случаях мне это просто приятно, в других естественна дружеская услуга, в-третьих — долг платежом красен, но некоторые можно объяснить только действием незримых клановых уз. Их власть над собой я осознал давно, давно смирился, расслабился и стараюсь получать удовольствие. Бывают, однако, случаи из ряда вон.

Начать лучше всего, пожалуй, старыми словесы, по испытанным образцам повествовательной корректности: *В одном департаменте служил один чиновник...* Вообразим себе одну коллегу, сочетающую возвышенную риторику с потребительским нахрапом; без усталости морализирующую по личным и общественным поводам; умело бьющую на ваше чувство вины, чтобы требовать новых приглашений, гонораров, транспортных и иных крупных и мелких услуг; выдающую себя не только научной и политической фигурой, но и интересной рассказчицей, очаровательной женщиной, желанной гостьей. Добавим, для пущего невероятия, что свои проповеди и отповеди, полные ленинского сарказма, она интонирует на ерническом распеве, выдающем знакомство с Бахтиным, Зощенко и Булгаковым. А теперь представим, что она ваша старая знакомая и вы, хотя и знаете ее насквозь, пригласили ее на обед, а перед этим на прогулку по городу, в связи с чем она в амплу бедной родственницы вытребовала, примерила и подвергла придирчивой критике ряд предметов вашего гардероба; что за обедом она долго отчитывала вас за неправильное обращение с уважаемым коллегой, а парой дней раньше публично приравняла вашу демифологизацию Ахматовой к поведению советского хама, вынуждающего усталую от работы и беготни

по магазинам жену саму покупать себе цветы на 8 марта (для нее что Анна Ахматова, что Клара Цеткин, лишь бы шла в дело); что вы, будучи скованы законами гостеприимства, с виноватой улыбкой целый вечер сносили все это и вот наконец захлопнули за ней дверь.

— Нет, Катя, не пойму, как это я сам в энный раз приглашаю ее, чтобы потом терпеть ее беспардонность?! — восклицаю я. — Я ведь далеко не ангел. Что заставляет меня так попадаться?!

Катя, как всегда, наготове.

— Мазонарциссизм.

— Мазонарциссизм? Ну, мазохизм еще понятно. А нарциссизм-то мой здесь при чем?

— При том, что ты упиваешься не только собственными мучениями, но и собственным превосходством. Думаешь: как я там ни плох, есть хуже.

Sigmund, please, sorry! («Учись, Зигмунд!»)

Губернатор острова Борнео

В конце девяностых, когда Роман Тименчик один семестр преподавал в Лос-Анджелесе (в UCLA), мы как-то повезли их с Сузи погулять в горы. Стемнело, но дорогу разобрать было можно. Однако когда, услышав какое-то уханье, Катя заявила, что высоко на эвкалипте она видит сову («вон она!»), ей никто не поверил, и я стал изгаляться на тему о художниках, которые «так видят». Но тут какая-то птица действительно перелетела с указанного эвкалипта на другой, подтвердив остроту Катиного зрения. Катя же, великодушно сменив тему, привела любимую фразу из Ильфа и Петрова: «Прилетели колотушка, бибрик и синайка».

Рома, вопреки своей репутации абсолютного знатока текстов, знакомства с цитатой не проявил.

Не помню точно, но, кажется, он даже спросил, что это за птицы, и Катя сказала: из «Записных книжек». Рома осторожно усомнился, Катя стала настаивать, Рома умолк, я сказал, дома проверим, и дискуссия закончилась. После прогулки мы завезли Тименчиков, а на обратном пути я стал отчитывать Катю за

неуместность источниковедческих препирательств с самим Тименчиком:

— Если Тименчик говорит, что это не из «Записных книжек», значит это не из «Записных книжек».

— Но я же помню...

— Надо понимать, с кем имеешь дело. Тименчик подобен тому английскому джентльмену, на примере которого иллюстрируется понятие *understatement*. Когда среди его гостей возникает спор о том, что такое Занзибар, и кто-то говорит, что это такая птица, кто-то, что это рыба, и т. д., — он долго отмалчивается, пока наконец не позволяет себе осторожно предположить, что, кажется, Занзибар где-то в Африке, — и это притом, что в свое время он 20 лет прослужил губернатором Занзибара! Если Тименчик говорит, что не уверен, что цитата из «Записных книжек», значит у него есть веские основания, типа того, что он только что написал работу о подтекстах этих «Книжек» или прочитал о них аспирантский курс, а возможно, и то и другое.

Катя выслушала меня терпеливо, но дома погрузилась в «Записные книжки». Результат, как я и ожидал, получился отрицательный, что позволило мне еще раз любовно отполировать экс-губернаторский образ Тименчика. Но Катя не сдалась и перешла к рассказам и фельетонам, в одном из которых («Как делается весна») в конце концов обнаружила-таки колотушку, бибрика и синайку.

Партия закончилась, таким образом, ко всеобщему удовольствию, о чем по телефону и было доложено Тименчику. Источник цитаты он мысленно запротоколировал, свой англоязычный портрет молчаливо оприходовал, в чтении спецкурса по проблемам художественного перевода с русского на иврит на материале «Записных книжек» сознался.

В тисках формы

Мы с Анатолием Найманом сверстники, познакомились в Ленинграде в начале 1970-х, не виделись лет двадцать, летом юбилейного 1989-го столкнулись во дворике ИМЛИ, и он подарил

мне только что вышедшие «Рассказы о Анне Ахматовой» (с зияющим о *Анне* — чтобы, не дай бог, не получилось о *бане*). Прочел я их лет через пять, по ходу своей ахматоборческой кампании, и нашел в них не просто ценное военное сырье, а готовый склад оружия, хотя и замаскированный под мирный объект.

С тех пор Найман напечатал уже откровенно скандальное «Б. Б. и другие», где со своим бывшим приятелем церемониться не стал (Б. Б. — не А. А.), так что писать о нем одно удовольствие: все заранее позволено. Тем более что на мою ахматовскую статью он отозвался полублатным наездом под названием «Витек и Алик». Noblesse, однако, oblige. Санкций на жертвоприношение Толика я решил дожидаться непосредственно от Аполлона.

Божественный глагол застал меня погруженным в заботы суетного света на посткоммунистической конференции в Иерусалиме, собравшей, по манию Д. М. Сегала, цвет российской гуманитарии (весна 1998 года). Заседания проходили при переполненном местной интеллигенцией зале.

Выступающие говорили с массивной радиофицированной трибуны несколько сбоку, а в центре высился монументальный стол президиума, за которым располагались председатель и участники данной секции, каждый со своим микрофоном; надо всем этим хеппенингом демиургически царил сам Дима Сегал с, так сказать, микрофоном номер один. Для реплик с места имелось еще несколько микрофонов на длинных шнурах, которые по знаку свыше специальные связисты тянули в гущу публики.

Мы с Найманом держались взаимно настороженно, но корректно. При первой же встрече я заверил его, что ожидаемого этического шока от «Б. Б.» не испытал, а вот некоторые конструктивные просчеты не мог не констатировать. Этот двойной удар он принял не дрогнув и вполне парламентарно заслушал мои соображения.

Вообще, после десятилетнего перерыва я с удовольствием отметил его неизменное изящество, по-прежнему складную фигуру и хорошо сохранившуюся красоту — все еще свежее лицо со все еще светящимися глазами в обрамлении все еще черных волос — и задним числом снова отдал должное вкусу Анны Андревны. Он появлялся в элегантно вельветовом пиджаке с акку-

ратными замшевыми заплатами на локтях, за столом демонстрировал отменные манеры, а сразу после ужина вежливо откланивался и исчезал до утра.

Заинтригованный этой неукоснительностью, я понимающе приписал ее толково налаженным тайным свиданиям, но, высказав свое предположение вслух, получил от застольцев успокоительное разъяснение, что после перенесенного сердечного приступа Найман строго соблюдает режим и диету: какие свидания? ничего лишнего, инфаркт — залог здоровья.

Заседания между тем шли своим чередом, пришло время выступать и Найману. Выйдя на трибуну и извинившись, что начнет издалека, он заговорил о том, каким знаменательным событием является настоящая конференция, как долго она готовилась и как он помнит, как несколько лет назад, когда еще жив был сэр Исайя, он, Найман, в Лондоне (или Оксфорде?) рассказал ему об этой идее, тот поддержал ее, и вот теперь, наконец...

Но тут его в свой микрофон громовым голосом перебил Сегал:

— Этого ничего не надо. Переходите к докладу.

— Я только хотел...

— Не надо, Анатолий Генрихович. Переходите к докладу на заявленную тему. Ваше время уже идет.

После некоторого замешательства Найман, приняв позу не оцененного благородства, приступил к докладу, из которого не помню ничего, кроме уже знакомого изысканно зияющего «о» — в словах *поэт, поэзия, поэтический*.

На другое утро мы с Найманом оказались самыми ранними пташками за завтраком, сели вместе, и он тут же заговорил о вчерашнем инциденте.

— Произошло недоразумение. Меня не так поняли.

— По-моему, Толя, вас поняли именно так — в смысле, что вы вместе с покойными Исайей Берлином и Анной Андревной, а вовсе не Дима Сегал, организовали эту конференцию.

— Ну, эти инсинуации, Алик, я оставляю на вашей совести, — произнес Найман с достоинством, и наша застольная *causerie* потекла дальше как ни в чем не бывало.

А вечером состоялось последнее заседание той секции, на которой выступал Найман, и заключительное слово было предоставлено председательствовавшей на ней Г. А. Белой. Большинство участников располагались в первом ряду, под трибунами; мы с Найманом сидели рядом на крайнем левом фланге. Раздавая оценки докладам, Белая особенно критически отзывалась о наймановском (не исключаю, что из-за «Б. Б.»). Найман зашептал:

— Ну, я ей сейчас дам...

— Сомневаюсь.

— Не сомневайтесь, я уже знаю, как я ей врежу... — Он застрочил на листке бумаги.

— Не-а, не врежете.

— Почему это? — он начинал кипятииться.

— По причине, которая вам как мастеру художественной формы должна быть понятна...

— Это по какой же?

— По той, что особенностью формы является ее завершенность, замкнутость. — Двумя указательными пальцами я обрисовал в воздухе круг, почти замкнув его, но оставив внизу некоторый зазор.

— Ну и что?

— А то, что речь, которую мы сейчас слушаем, является в жанровом отношении заключительной, — я наконец позволил пальцам соприкоснуться, — и по закону композиции не предполагает никаких дальнейших высказываний. — Я еще раз описал пальцами круг перед носом Наймана и победительно замкнул его. — Вам просто не дадут слова.

— Пусть попробуют, — сказал Найман и всем телом изготовился к прыжку.

Белая наконец кончила и стала сходить с трибуны. В ту же секунду Найман устремился вперед, требуя слова, и протянул руку к микрофону. Навстречу ему из-за главного стола поднялся Сегал со своим микрофоном в руках. Найман защитно выставил вперед свободную руку, но Сегал продолжал на него надвигаться. Зрелище их повторной стычки вызвало шум и оживление

в публике, когда раздался усиленный громкоговорителями, все перекрывающий, подчеркнуто членораздельный голос Сегала:

— Анатолий — Генрихович — я — вам — ДА-Ю — микрофон!

Раздался общий хохот, в котором потонул наймановский отпор Белой, так что я мог поздравить себя с полным успехом постановки, оставшейся, впрочем, анонимной.

Гордиться ли этим, не знаю. С одной стороны, вроде бы правильно — режиссер умирает в актере, но с другой — получается какое-то трусливое закулисное подзуживание. Тем более что в свое время подобное обвинение мне уже предъявлялось.

На офицерской стажировке в военном лагере зимой 1959 года филологи подыхали от безделья. Валялись на нарах, слонялись по казарме, пили, пели, доходило до драк. Аркадьев и Баумов схватились с применением технических средств — солдатских ремней; на бритых головах пряжки оставляли красные следы. Я бросился разнимать, и общими филологическими усилиями побоище было прекращено. В дальнейшем по ряду причин именно мне комсомольское бюро факультета вынесло выговор с занесением в личное дело (об этой истории я уже писал). А на комиссии по распределению на работу ее председатель, печально известный декан факультета Р. М. Самарин, спросил с нарочитым безразличием к фактам:

— Жолковский, что у вас там вышло с Баумовым?

— У меня ничего, Роман Михайлович.

— Зачем вы на него полезли?

— Я не лез, Роман Михайлович.

— Ну, не лезли, так подзуживали.

— Я не подзуживал, Роман Михайлович, я разнимал.

— Подзуживал, разнимал... какая разница?! Не подзуживайте, Жолковский, — закончил он на отечески поучающей ноте и выдал мне направление в Пензу (от которой меня спасла лишь причастность к как раз забрезжившему машинному переводу).

Действительно, какая разница? В обоих случаях человек действует со стороны, в миротворческой ли, провокаторской ли, но не героической роли, претендуя, однако, на некое превосходство,

в одном варианте явное моральное, в другом — тайное эстетическое. Устыженный этими соображениями, я в дальнейшем старался по возможности «лезть» и брать ответственность на себя; я даже стал перебарщивать в этом направлении, а потом для корректировки табанить в обратном. На Ахматову вот полез с открытым забралом, а с Найманом спрятался за его же спину.

...Вспоминается старинный советский анекдот об иностранном корреспонденте, ранним утром наблюдающем очередь в булочную и драку сумками.

— Что, перебой с продуктами? Дерутся из-за хлеба? — спрашивает он у сопровождающего.

— Да нет, хлеба навалом, а это... гурманы, стоят за какой-то особой выпечкой.

Махаловка с НРЗБ

Я был уже немного знаком с Сергеем Гандлевским, когда под впечатлением «Устроиться на автобазу...» занялся его стихами — с точки зрения «инфинитивной поэзии». Из Санта-Моники я по электронной почте показал ему черновик статьи, получил ценные разъяснения и пригласил его на свой доклад в Москве (июнь 2000 года). Поэт явился и, с непроницаемым видом играя самого себя, досидел до конца.

Он оказался моим соседом по двору и предложил заходить, что я и стал делать, наслаждаясь обществом его семьи, мастерским кофе по-турецки и нелицеприятным table talk'ом высшей пробы.

Сережа подарил мне несколько своих книжек, а я ему своих, в том числе сборник рассказов «НРЗБ» (1991) и «Мемуарные виньетки» (2000).

Разговоры за кофе и на прогулках с его боксером Чарли были о разном — о культурном и политическом быте, литературе, наших собственных и чужих новинках. Мне близок Сережин неоклассицизм: концепта недостаточно, главное, как он говорит, предъявить «изделие».

Но о моем последнем издании — «Виньетках» — речь все не заходила, сам же я ее не заводил, подозревая худшее и предпочитая суровое мужское обоюдное молчание.

Приехав летом 2001 года, я вручил Сереже свою новую статью (об обезьянах у Ходасевича и Зоценко) и за очередным кофе ожидал услышать отзыв. Перед тем как идти к нему, я в телефонном разговоре с одной знакомой неожиданно нарушил внутреннее табу и обрисовал сюжет с суровым молчанием мужчин: вот, мол, буду у Гандлевского, а про «Виньетки» — ни-ни. Но, прислушавшись к себе, я ощутил, что где-то там, в душевной глубине, вербализованный и как бы осознавший себя сюжет, преодолев первый барьер, готовится ко второму прыжку.

За кофе нелицеприятный Сережа оценил статью как интересную, но не идущую в сравнение с прошлогодней.

— Конечно, та была о вас...

— Ну зачем. Тут всего лишь любопытные подтексты, а там было откровение. Ведь пишешь — думаешь, уникальное, а оказывается, работаешь в каноне.

Под эти сладостные звуки я окончательно размяк и перестал противиться зашевелившемуся соблазну. В конце концов, подумал я, суровая мужская прямота стоит сурового мужского молчания.

— Сережа, а что, мои виньетки вам совсем не понравились? Вы скажите, я пойму, — я указал на мужской характер нашей дружбы, — ведь ваша «Трепанация» сделана иначе.

— Скажу больше, я их не читал. Все знают, что последние полгода я пишу повесть и ничего не читаю.

— Но прошел год, так что шесть месяцев остаются непокрытыми.

— Все знают, я вообще ничего не читаю...

— Жаль. Виньетками я дорожу больше, чем, скажем, рассказами, которые даже не помню, дарил ли вам. А о чем «повесть»? Неужели просто про Ивана Ивановича?

— Именно, хотя я всегда твердил, что такое повествование устарело.

— А как называется?

— «НРЗБ». Понимаете?

— Как не понять — у меня у самого есть такой рассказ, по нему и книжка озаглавлена.

Разговор принимал поистине мужской оборот.

Слегка дрогнув, Сережа спросил:

— У вас в уголках?

— В каких уголках?

Сережа руками показал угловые скобки.

— Нет, но думаю, и так ясно. А у вас ведь, небось, не просто заглавие, а сюжетный лейтмотив? — иезуитствовал я.

— Да, я и стихи для героя написал, там «нрзб» зарифмовано...

— У меня не зарифмовано, я взял пушкинские... Знаете, если я не дарил книжку, можно посмотреть на моем сайте. — Я повел рукой в сторону внутренних комнат.

Но Сережа, как написали бы мои любимые авторы, не сделал ни малейшей попытки предъявить стул.

— Нет, — демонстрируя мужскую выдержку, сказал он, — я себе настроение портить не буду.

Тут драматическая сцена прервалась — с дачи приехало Сережино семейство, и мы попрощались, наскоро поклявшись никому ни слова.

Вечером Сережа позвонил.

— Алик, вы очень расстроились, что я не читал «Виньетки»?

— Да уж, наверно, не больше, чем вы, что не читали «НРЗБ».

— Ужасно. Я даже поплакался Лене. Она поддержала меня, сказала: «Не уступай». Знаете, я потом в интервью все объясню...

Мне никаких интервью не предстояло, и я стал немедленно рассказывать знакомым, разумеется, под честное мужское ни гу-гу. А на другой день позвонил сам.

— Вот вы, Сережа, не любите веб-сайтов, а я тут готовлю к вывешиванию статью, собственно, не статью, а главу из одной книги, точнее, не книги, а учебника, да, учебника для высших и средних учебных заведений с гуманитарным уклоном, — про «НРЗБ» пишут. Так что, как вы, с двумя школьниками в семье, это пропустили, просто загадка.

— Да, ужасно. Я даже Акунину пожаловался. Он говорит, надо менять. Я говорю, подумаешь, вот у тебя «Особые поруче-

ния» — таких названий в литературе наверняка десятки. Да, говорит, но, понимаешь, у меня проза массовая, а у тебя элитная.

— Будем утешаться тем, что доказано мое моральное право вас исследовать. Конгениальность налицо.

— Я решил вообще изменить стиль заглавия, тем более что вещь фабульная.

— Например, «Я вас любил...»?

— Да, что-нибудь простое, вечное. А то «НРЗБ» слишком привязывало мою повесть к 1990-м годам.

Следующий раунд состоялся за прощальным кофе перед моим отлетом в Штаты.

— Алик, я нашел у себя вашу книжку, с надписью. Я узнал ее...

— В ответ признаюсь, что под честное слово иногда рассказываю эту историю.

— А уж я-то!..

Мы попрощались крепким мужским рукопожатием, и я улетел умиротворенный, тем более что Сережа с немногословной мужской деликатностью вплел в разговор цитату из «Виньеток».

...Проходит два месяца — получаю e-mail: «Dorogoi Alik! Vse-taki NRZB obzhalovaniyu ne podlezhit. Izvinite. Vash S. G.»

Что тут поделаешь? Как сказал в соответствующем интервью, кажется, Глинка, а до него, кажется, Мольер: «Je prends mon bien partout où je le trouve» («Я беру свое добро везде, где нахожу его»). И, как писал неразборчивый Пушкин, *ветру и орлу И сердцу девы нет закона. Гордись: таков и ты, поэт, И для тебя условий нет.*

Уважительные причины

В кулуарах иерусалимской конференции 1998 года, за ужином, зашла речь об истории издания «Рассказов о Анне Ахматовой» (М.: Художественная литература, 1989) присутствовавшего тут же Анатолия Наймана. В частности, о том, как главный редактор издательства, небезызвестный Гога Анджапаридзе, возражал против включения в книгу ахматовского приговора Роберту Рождественскому:

«Как может называть себя поэтом человек... не слышащий, что русская поповская фамилия несовместима с заморским опереточным именем?.. На то ты и поэт, чтобы придумать достойный псевдоним».

Вспоминая об этом, Найман отметил, что коронный довод Анджапаридзе был вовсе не политический, а человеческий — нехорошо огорчать Рождественского. За столом эту аргументацию поддержала одна моя давняя знакомая (и героиня виньеток), вспомнившая, что Рождественский тогда тяжело болел. В ответ подала голос Катя: ну и что ж, что болел, — Ахматова к тому времени вообще уже двадцать лет как умерла, а все рта раскрыть не дадут. (Найман пробил-таки негуманное *mot* Ахматовой, но не без потерь — по-эзоповски переименовав поэта в Альберта Богоявленского; *à la lettre* Рождественский был прописан в этой связи в неподцензурных «Записках» Чуковской.)

Апелляция к справке от врача чем-то напомнила формулировку, услышанную от Анджапаридзе мной самим в 1988 году, когда он, только что возглавивший издательство «Художественная литература», приехал в составе делегации советских писателей (помню В. Розова, Т. Толстую, М. Жванецкого) в Штаты и выступал в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. На вопрос из зала, собирается ли он издавать Солженицына, он ответил, в изящно англизированном ключе, что Солженицын is not his cup of tea (= не его чашка чая).

Еще один пример подобной риторики был продемонстрирован и на одном из заседаний иерусалимской конференции. Открывая его, председательствующий (Д. М. Сегал) напомнил о необходимости соблюдать регламент: доклад столько-то минут, вопрос с места столько-то, выступление в прениях столько-то, после чего предоставил слово М. Л. Гаспарову. Пока тот поднимался на сцену, вперед выскочила моя старая знакомая — с заявлением, что регламент — дело хорошее, но иногда уместно сделать исключение, например для такого докладчика, как Михаил Леонович. Гаспаров, однако, уложился в отведенное время с оскорбительной точностью.

Что же общего между этими тремя случаями, в чем инвариант? Прежде всего, бросается в глаза упор на малое, личное, осо-

бенное — в противовес некоему категорическому общему императиву. Ахматова, может быть, и права, но надо пожалеть больного; Солженицын, может быть, и великий пророк, но имеет же издатель право на свои эксцентрические вкусы; регламент регламентом, но позаботимся о Михаиле Леоновиче, который заикается. Под защиту берется как бы нечто теплое, уязвимое, слабое (недаром в двух случаях речь идет о болезнях) и притом частное, а угрожает ему нечто сильное, общественное, неумолимо-безличное. Но именно в этом благородном — как на сердобольный российский, так и на правовой западный вкус — посыле кроется главный демагогический ход. На самом деле отстаивается не слабое, а сильное — советское цензурирование Ахматовой и Солженицына и всеми почитаемый академик, перебить которого не придет в голову самому бездушному хронометристу. Конкретные подзащитные могут меняться, но в силе остается финт якобы гуманитарного протеста, а по сути — конформистского присоединения к властному статус-кво, с закономерно сопутствующим ему провозглашением морального релятивизма.

...Я уже приволил слова из ранней отепельной статьи в «Правде» о Сталине — великом революционере, не лишенном, к сожалению, отдельных недостатков: «Личная трагедия Сталина состояла в его чрезмерной подозрительности...»

Прямая рассылка

С Восточного побережья позвонила вдова старого приятеля — пожаловаться на травлю со стороны ФБР, ЦРУ и других черных сил. Приятеля погубили его завиральные идеи (он лечился исключительно сыроедением и умер от инфаркта), вдова же была вообще, как говорится, «куку». Унаследованный от мужа дом она, оставив детей нищими, подарила своему гуру, указаниями которого руководствовалась по всем вопросам; впрочем, иногда упоминался еще и spirit, «дух», не уверен, его, ее или какой-то универсальный. Все это говорилось на голубом глазу, блаженно-певучим голосом, и передо мной всплывало ее ясное, красивое лицо, а мысль предсказуемо вертелась вокруг ее имени — Беата.

Дружба, однако, обязывает, тем более посмертная, и я как мог поддерживал разговор, узнавая все новые и новые детали чудовищного заговора американской охраны. Притворно поддакивать я не стал, всерьез разубеждать было бесполезно, но впрыснуть какую-то дозу здорового скепсиса и в то же время моральной поддержки я попытался. Я предложил прислать мне копию письма из органов. Ответ был неожиданный:

- Не могу.
- Почему?
- Его нельзя прислать.
- Думаете, не дойдет?
- Не в этом дело.
- А в чем же? Ведь оно пришло по почте?
- Нет.
- Федеральным экспрессом?
- Нет.
- По факсу?
- Нет.
- А как?
- Оно пришло мне в голову.

Что на это скажешь? Так играют овраги у Пастернака, так острят шекспировские шуты, так говорят блаженные, нищие духом (*beati pauperes spiritu*), так в Иерусалиме звонят Богу — по местному тарифу.

Местный колорит

Считается, что если остроу или анекдот надо объяснять, то все пропало. Но иногда без комментариев не обойтись. Да и вообще, комментарии — дело хорошее, талмудическое.

Старый советский анекдот из жанра грузинских.

Московский водитель проезжает в Тбилиси на красный свет. Его останавливает милиционер:

— Па-кажи права, дарайгой!

Водитель подает свое удостоверение, вложив в него купюру.

— Прав лишать будэм, — говорит милиционер. — Дал-таннизмом страдаешь, дарагой. Едишь на красный, кладошь — зеленый?!

Справка: зеленого цвета была трешка, красного — десятка.

Смысл: грузины богаче, коррупция сильнее, взятки, во всяком случае с москвича, крупнее.

Недавняя лос-анджелесская история.

На конференции аспирантов-славистов нескольких калифорнийских университетов утреннее заседание проводит профессор из Беркли, знаток русской литературы, специалист по Мандельштаму, полиглот, умница. Закрывая заседание, он описывает его шикарным словом латинского происхождения — *preprandial* («предобеденный»). После ланча председательствую я. Я пытаюсь как-то обыграть и оспорить его словоупотребление, но он с места парирует мои потуги, и у меня остается чувство полемической неудовлетворенности. Я жду, к чему бы придраться, но случай все не представляется.

Вечером на парти царит атмосфера доброжелательной скуки. Берклийский коллега говорит мне дежурный комплимент — и я обнаруживаю в нем искомый лексикографический зазор.

Он (любезно): You look tanned («Вы выглядите загорелым»).

Я (въедливо): No, I am tanned. It's you who look tanned («Нет, я действительно загорел. Это вы выглядите загорелым»).

Он (великодушно): Well, I sometimes add a shade or two («Ну, я иногда принимаю немного более темный оттенок»).

Справка: коллега — индийского происхождения, очень темнокожий.

Смысл: плевать я хотел на политкорректные табу.

Более давняя лос-анджелесская история.

Я договариваюсь с коллегой из соседнего университета, UCLA (Калифорнийского университета Лос-Анджелеса), нашего постоянного соперника, о проведении совместного семинара. Мы во всем согласны, планируем на одно и то же время, но при этом я говорю о «весне», а он — о «зиме».

— Как это так?! — не выдерживаю я. — У нас весна, а у вас еще зима?

— You are south of us («Вы южнее нас»), — следует ответ.

Справка: я работаю в USC (Университете Южной Калифорнии); у нас три семестра — два основных (осенний, с сентября по декабрь, и весенний, с января по май) и один каникулярный (летний), а в UCLA — четыре четверти (quarters), по временам года; топографически наш университет действительно расположен южнее (и восточнее); в Лос-Анджелесе район чем севернее и западнее, тем лучше — престижнее, богаче, безопаснее.

Смысл: UCLA лучше, чем USC!

А где же лейтмотивная цветовая гамма? — спросит проницательный читатель. Разъясняю: южнее — еще и чернее, но это уж в самом глубоком подтексте.

Их нравы

(Дневник писателя)

В столичный город М. я приехал в конце сентября. Основное внимание литературной общественности было приковано к европейскому городу Ф., месту ежегодной книжной ярмарки. Но и в М. культурная жизнь не замирала. На презентации сразу двух книг популярного эссеиста Г. (написанных к тому же единолично, вне соавторства с В.) я встретил кумира моей юности А. и милягу и остроумца П. (из города К. на сибирской реке Е.). Присутствовали и другие знаменитости, но в центре внимания был, конечно, Г., державшийся с шикарной скромностью. Скромность эта, хотя и напускная, смотрелась вполне натурально, ибо в точности соответствовала масштабам драпируемого ею дарования. Подобными соображениями я, однако, ни с кем делиться не стал, а был, напротив, любезен как с А. и П., так и с Г., ненавязчиво позиционируя себя как принадлежащего к м-ским литературным кругам.

Через пару дней я оказался на презентации А. в модном филологическом кафе Б. Кумир моей юности выступал с антресолей, а публика гнездилась на всех возможных уровнях. От знаменитостей рябило в глазах. Опять был миляга П.; был мрачный в своем величии поэт Р.; блеснула сначала своим присутствием, а затем отсутствием унизанная серебром поэтесса А.; в качалке,

бледен, недвижим, ненадолго явился поэт В.; на антресолях, потом в партере, потом опять на антресолях появился все еще красивый литератор Н. со все еще красивой супругой. За его перемещениями я следил с особым интересом — дело в том, что Н., известный скандальными наездами на друзей и знакомых, как-то посвятил мне несколько ядовитых страниц, и я не остался в долгу.

Но когда собственно презентация подошла к концу и наступило время неформального фуршета, Н. нигде не было видно. Вопрос о статусе наших с ним отношений оставался, таким образом, открытым. Зато общение за водкой с А., П. и Р. наглядно подтверждало мою причастность к большой литературе. Более того, Р., в давние времена, как и Н., близко знавший Ахматову (иконоборческой статьей о которой я и навлек журнальные сарказмы Н.), внезапно объявил в своей не допускающей возражений трагической манере: «То, что ты написал про Ахматову, — абсолютная правда!!!» Я привык не верить ни одному слову Р., но тут вынужден был согласиться.

На очередной литусовке я опять встретил Р. Он был уже подшофе, но трагический порох держал сухим.

— Ты видел, как я вчера дал в морду Н.?! Он написал про мою мать, что она была любовницей Ворошилова!! Он был со своей женой — моей бывшей. «Ты жива еще, моя старушка?!» — сказал я. Он сказал: «Пошел вон отсюда!» Тогда я разбил ему лицо в кровь!!! Его увезли!..

Я ничего такого не видел, хотя весь вечер вроде бы провел в обществе Р. Но, вопреки обыкновению, его рассказ отдавал какой-то глубинной убедительностью. Подумав, я понял, в чем дело.

Годом ранее Н. уже был подвергнут аналогичной экзекуции, правда на более высоком, международном, уровне. Тогда книжная ярмарка в европейском городе Ф. была посвящена русской литературе. Ее и избрал сценической площадкой для нанесения пощечины Н. его былой друг и тоже член ахматовского круга филолог М., десятком лет ранее высмеянный Н. в романе-пасквиле «Б. Б. и др.». Как и в этот раз, о пощечине я узнал тогда на другой же день — из уст наносителя, напрямую из Ф. прибыв-

шего в столичный европейский город П. на реке С., где проходила конференция по славистике (в момент рассказывания мы находились на левом берегу).

То, что пощечины литератору Н. складывались в правильный узор (несмотря на его предусмотрительную решимость держаться подальше от города Ф.), не могло меня не радовать — как его оппонента, как любителя инвариантов и вообще эстета. Но были поводы и для беспокойства. Не выглядел ли я в своей роли полемиста несколько бледно? Вместо того чтобы давно набить Н. морду, как того требует литературный этикет, я отписался виньеткой в малотиражном издании. Не получалось ли, что, оторвавшись от российской почвы с ее дворянскими традициями и гибелью поэтов на дуэлях, я лишний раз расписался в малодушном аутсайдерстве?!

В своих сомнениях и тягостных раздумьях я решил обратиться за квалифицированной оценкой ситуации к местным авторитетам. Я позвонил П.

— Д-да н-нет, — со счастливым заиканием проинтонировал он. — Т-тебя их дела не к-касаются.

— Почему не касаются? — встревожился я. — Потому что я американский профессор?

— Да нет, это н-никого из н-нас не касается. Это их счеты. Нас они к-касаются не больше, чем ра-разборки внутри с-солнцевской преступной г-группировки.

Инклюзивное «нас» пролило бальзам на мою душу. Чтобы закрепить успех, оставалось вступить в непосредственное соавторство с П.

— Теперь понимаю, Женя. Только не солнцевской — комаровской.

Нет, почему же

В Калифорнийский университет Лос-Анджелеса (UCLA) Вяч. Вс. Иванова взяли в качестве великого ученого и вскоре пригласили прочесть ежегодную всеуниверситетскую публичную лекцию. На эту почетную роль профессор назначается из числа

рекомендованных различными факультетами; в большом зале, отведенном для подобных мероприятий, собирается академическая общественность и представители городской культурной элиты.

О готовящемся выступлении В. В. мне сообщил его коллега по кафедре, мой приятель, добавив, что желательно прибыть конно, людно и оружно, чтобы по возможности заполнить помещение. Я, разумеется, пошел, но Катю, сразу почуявшую клановую атмосферу советской тусовки, уговорить не смог. Профессионально она как художница считала себя к этой операции непричастной, культа В. В. не разделяла, генеральских замашек его жены, своей старой знакомой, не переносила.

Прием с угощением происходил в одном здании, на лекцию перешли в другое. Зал, вмещающий человек пятьсот, был полон. Среди публики я узнал многих личных знакомых В. В., в том числе Лёню Т. Лёня являл распространенный лоханкинский тип русского эмигранта: семью содержала жена, быстро адаптировавшаяся к новым условиям и хорошо зарабатывавшая (кажется, программисткой), а он перемежал домашние размышления о судьбе русского интеллигента в Америке домашней же полупрофессиональной деятельностью в роли турагента — доставал избранным русским знакомым недорогие авиабилеты, сам ничего с этого не имея. У Ивановых он был постоянным гостем — в качестве нужного человека и на безрыбье (большинство знакомых они постепенно разогнали своим командным стилем). И вот теперь он прибыл по их зову.

Лекцию В. В. посвятил происхождению индоевропейских языков в связи с историей самих индоевропейцев и географией их миграций. Мы с приятелем заблаговременно заняли места в заднем ряду, он вздремнул, а я, старейший в зале ученик В. В., занимавшийся у него хеттским языком еще полвека назад, честно все прослушал. В. В. эффектно подал выигрышный материал, и лекция имела успех.

Рассказывая об этом дома, я упомянул и Лёню Т., который тоже вот не имеет профессионального отношения к делу, а пришел.

— Почему же не имеет отношения? — парировала Катя. — Ведь речь шла о миграциях, передвижениях, то есть о том, чем он как travel agent непосредственно занимается.

Это был классический put-down — Лёни, а рикошетом и В. В. — по знакомой унизительно-уступительной формуле, часто применявшейся нами со Щегловым в давней советской жизни. Помню, как к Юре, стыдясь собственного ничтожества перед лицом настоящего ученого, подошел знакомиться Толя Р.:

— Юра, вам вряд ли будет интересна моя скромная персона...

— Почему же, Толя, среди моих знакомых есть люди самого разного сорта.

В Америке, особенно под цивилизующим влиянием Ольги, я долго и старательно заглушал в себе эту негуманную ноту. Но нет-нет она прорывается, узнается и звучит — отрезвляюще чисто.

Кашрут в бессмертие

Историй со сложными пируэтами вокруг кошерности сколько угодно, но интереснее ее побочные ответвления.

Виталий Гринберг, знакомый моим читателям как теоретик мирового надолбона, внес вклад и в эту копилку. Как-то раз, катаясь на горных лыжах в Биг-Бер-Лейк, мы сделали перерыв на посещение туалета. Операция это утомительная. Лыжи отстегиваются, снимаются, в тесной кабинке долго рассупониваешься, а потом засупониваешься обратно. Помыв руки, я наконец с облегчением направился к выходу, но был остановлен театральным окриком Виталика:

— НЕВЕРНО!!!

— Что неверно?

— Покажи, как ты делал.

Я вернулся и приступил к показу, сопровождая его, как при разборке винтовки на военном деле, словесным описанием.

— Намыливаем руки, пускаем воду, моем руки, берем салфетку, вытираем руки, бросаем салфетку в корзину, открываем дверь...

— Неверно!!!

— Что тут может быть неверно?

— Показываю. — Виталик отодвинул меня от умывальника. — Намыливаем, моем, вытираем салфеткой, ТОЙ ЖЕ САЛФЕТКОЙ ПОВОРАЧИВАЕМ РУЧКУ ДВЕРИ, открываем дверь и ТОЛЬКО ТОГДА выбрасываем салфетку. — Придерживая дверь ногой, он с баскетбольным шиком метнул салфетку в корзину. — Ты подумал, сколько народу хваталось за эту ручку?!

— Допустим, допустим. Но вот ты сейчас выйдешь на склон, закричишь: «Кто тут single?» — сядешь на подъемник с первой попавшейся девицей и в тот же вечер припадешь ко всем ее отверстиям, не задумываясь, кто делал это до тебя. Нет ли тут, Виталик, противоречия?

— Противоречие? А есть. Есть. Есть противоречие. Жизнь полна противоречий!!

Допрошенный, откуда его супергигиенические замашки, он рассказал о бабушке, которая держала свое ручное полотенце не в ванной, а у себя в комнате. Помыв руки, она шла к себе через столовую, покачивая поднятыми над головой влажными ладонями — демонстрируя их нетронутую чистоту. Однажды Виталик пробрался к ней в комнату и осмотрел полотенце. Оно выглядело грязноватым — но, конечно, это была «своя» грязь.

Установка на неприкасаемость может разыгрываться и на более возвышенном уровне. Впрочем, и тут не обходится без рук.

Омри Ронен (1937–2012) славился среди коллег высокой требовательностью в выборе не только знакомых, но и лиц, чьим именам он позволял появиться рядом с его собственным в статье, сборнике, списке литературы. Один его многолетний друг подвергся опале за то, что не отмежевался от соавтора, на веб-сайте которого Ронен обнаружил ссылку на, с его точки зрения, некошерного персонажа.

В свое время учившийся в Гарварде у самого Якобсона, Омри говорил мне, что брал у него и уроки неподавания рук разжалованным коллегам.

— Роман Осипович показывал, как это делается. — Миниатюрная фигура Омри приобрела величественный вид. Отойдя

на несколько шагов для разгона, он с высоко поднятой головой двинулся в мою сторону. — Руки принимаются назад, вот так. — Как физиотерапевт, демонстрирующий пожилому пациенту оздоровительную гимнастику, он вытянул обе руки вперед, затем плавно завел их за спину и, глядя ввысь, прошествовал мимо.

Это выглядело умилительно, и я посмеялся, не помышляя, что, вообще говоря, и сам не гарантирован от подобной экзекуции. Пока что черный день не наступил, но какие-то признаки перевода в разряд трефного я ощущаю. А с публикацией этой виньетки фарс вполне может обернуться трагедией.

Кстати, в моем опыте Якобсон действительно не был чужд профессионального кашрута. Я уже писал, как он однажды заочно отлучил меня (к счастью, на время) за упоминание о нем в одном абзаце со Шкловским. Хотя какой там кошер — от Шкловского отгораживаться, а с Виноградовым и Филиным возжаться? Жизнь полна противоречий.

Еще круче всегда держал себя Вяч. Вс. Иванов, тоже наследник Якобсона. Он даже, кажется, давал пощечины — то ли Евтушенко, то ли Палиевскому, то ли кому-то еще. Но это уже не кашрут. К трефному нельзя прикасаться. Тут что-то арийское, дворянское, рыцарское.

Антонина Николаевна

С вдовой Бабеля Антониной Николаевной Пирожковой и их дочерью Лидией Исааковной я познакомился в Москве, в ИМЛИ, в первый день бабелевских столетних торжеств 1994 года. Вышло так, что через пару часов именно я провел их обеих в Дом литераторов, предъявив красную членскую книжку и бросив охранникам в камуфляже сакраментальное «это со мной».

Мы с Ямпольским как раз закончили книжку о Бабеле, и вечером я ехал сдавать рукопись Марку Фрейдкину, о чем был рад доложить Антонине Николаевне. Потом мы каждый день виделись на конференции по Бабелю в РГУ, и я проникался все большим восхищением.

К тому времени я уже прочел ее рассказ о жизни с Бабелем и был благодарен ей за издание воспоминаний современников и двухтомника сочинений (с той оговоркой, что если уж что и включать в качестве окончательного варианта, то не многословный «Мой первый гонорар», а лапидарную «Справку»). Но этим дело не ограничивалось. Помимо естественного, по-бабелевски вуаеристского любопытства к русской женщине, с которой он, говоря его языком, «переночевал» более полувека назад так, что с тех пор «она осталась им довольна», интерес вызывала она сама.

Ей было за восемьдесят. Она от звонка до звонка просидела на всех заседаниях, своим молчаливым, но неусыпным присутствием освящая нескончаемые доклады. Нескончаемые в смысле как количества, так и продолжительности. В какой-то момент надзор за регламентом был поручен мне, что быстро привело к конфликту, и я был смещен. Единственный голос в мою поддержку подала Антонина Николаевна: «Пусть он, только помягче!» При всей своей выдержке, она, видимо, хотела попасть домой засветло.

Организационный хаос включал и такие эффекты, как чтение докладов *раньше* времени, объявленного в программе. Невольно опоздав, я получил возможность на весь зал объявить, что «мине нарушают праздник».

Из-за несоблюдения регламента заключительное заседание затянулось, и приглашенный прочесть на закуску рассказы Бабеля артист-декламатор (Владимир Сорокин?) два часа томился в коридоре в ожидании выхода. Но вот все кончилось, улеглось, было распито шампанское, разъеден торт, все стали прощаться. Я подошел к Антонине Николаевне, мысленно расшаркался, поблагодарил за все и попросил прощения, если чем не угодил.

— Такой живчик! — пропела она, ввинтив мне палец в живот.

Мне было 57, ей 82, Бабелю 100. Это был идеальный треугольник в духе лимоновской «Красавицы, вдохновлявшей поэта», мною уже завистливо проанализированной.

В 1995-м я снова оказался в Москве, наша книжка вышла, я позвонил Антонине Николаевне и получил приглашение привезти ее.

У метро я купил букет цветов.

— Ну зачем вы тратились?!

— А вы бы предпочли деньгами?

Спросить мне хотелось главным образом, был ли написан и затем конфискован при аресте роман о чекистах. Она уверенно сказала: нет.

— Почему вы так уверены?

— Потому что он не любил писать...

Через час я стал прощаться.

— Сидите.

Она стала расспрашивать меня о жизни в Америке и советовать о переезде туда — к получившему работу внуку. Я осторожно сказал, что людям в возрасте отрыв от привычных связей дается трудно.

— Чем вы будете там заниматься?

— У меня есть дело. Я буду писать мемуары.

— О Бабеле?

— Нет, с Бабелем у меня все закончено. Я прожила свою интересную жизнь.

Она стала рассказывать о жизни инженера по туннелям, работе в горах, если не ошибаюсь, Кавказа, столкновениях с местным начальством, рискованных ситуациях.

Через какое-то время я опять поднялся:

— Не хотелось бы утомлять вас своим присутствием.

— Да ведь говорю-то я.

...В 2004 году, к 110-летию Бабеля, конференция была устроена в Стэнфорде. На нее Гриша Фрейдин созвал весь мировой бабелевский синклит, в том числе двух дочерей — от первого и второго браков — и Антонину Николаевну, которая в 92 была по-прежнему бодра и внушительна. Она перебралась-таки в Штаты, где ее возраст ближе к среднестатистическому¹.

Желание быть испанцем

Лжецу нужна хорошая память. Собственно, она нужна всем нам, тщеславцам, ибо от *тще-* до *лже-* всего один шаг. И совершенно позарез она цитатмейстерам — любителям показать свою

¹ Она умерла в 2010-м, в возрасте 101 года.

талмудическую образованность. Имея с ними дело, главное — не включаться в игру, а с беспардонной скромностью отвечать: «Не знаю. Откуда?» Во-первых, лежачего не бьют, во-вторых, они часто и сами не знают. Общим эмоциональным посылом этих игр является обычное цеховое важничанье («Я знаю, я!»), но, как и у Сальери, иногда прорывается личная нота.

На очередных Эткиндовских чтениях в Питере Омри Ронен делал доклад о «Дон Жуане» А. К. Толстого. Но начал он с сарказмов по адресу «поэта Коржавина» и «беллетриста Нагибина», не разобравшихся, кто написал:

*Ночной зефир Струит эфир. Шумит, Бежит Гвадалквивир.
Скинй мантилью, ангел милый, И явись как яркий день! Сквозь
чугунные перилы Ножку дивную продень! —*

а кто:

*Гаснут дальней Альпухары Золотистые края, На призывный
звон гитары Выйди, милая моя! (...) От лунного света Зардел не-
босклон, О, выйди, Нисета, Скорей на балкон!*

Я слегка поежился, как, наверно, многие в аудитории, при мысли, что тоже мог бы попасться. Вообще-то, перепутать нетрудно, но, к счастью, Пушкин заучен от корки до корки, — ничего не поделаешь, начальство надо знать в лицо. То есть аргументация держится просто на памяти, в идеале — фотографической.

Ну, поежился, поежился и ладно, мое дело сторона. Но вечером, в машине на пути к Арьеву, Ронен перенес огонь на меня.

— Вы не любите поэзию Ахматовой...

Он зашел с козырной карты, имея в виду мое ахматоборчество, но интонацию взял угрожающе перечислительную, и я насторожился.

— Почему вы так думаете, Омричка?

— Я читал ваши статьи...

— А разве там где-нибудь сказано, что у нее плохие стихи?

Он на секунду замолк, поняв, что атака захлебнулась, но тут же, не сбавляя оборотов, перешел к следующему пункту.

— А что за глупости пишет ваш Пастернак: *Ты научила меня наклону!*?

Такой строчки я у Пастернака не помнил, в чем честно сознался. Ронен продолжал торжествовать («Ну как же?!»), а я принялся гадать о мотивах неожиданного наезда.

Никакой вины за мной вроде не было. Я числился его отцом-благодетелем (это особая история). Я с почтительной благодарностью ссылался на его работы. И ни разу не замарал себя некошерным братанием или хотя бы печатным соседством с кем-либо из коллег, объявленных им нечестивыми. Ну, разве что немного демифологизировал Ахматову, но ведь не Мандельштама же, которым он занимался! Однако, судя по его тону, где-то я тем не менее вторгся на подведомственные ему территории. Неужели виньетками, которые я стал писать, последовав его же совету перейти от рассказов к pop-fiction и таким образом опередив появление — в той же «Звезде» — его собственных мемуарных эссе?!

Тем временем мы приехали. Компанию Арьев собрал неслабую: Кушнер, Ронен, Тименчик, Щеглов... (Был приглашен и Долинин, но он не захотел идти без остановившегося у него Осповата, на которого наложил вето Ронен, карая его за какие-то провинности.) «Средь столького ума», как выразился бы Данте, и предстояло продолжиться нашей интеллектуальной дуэли.

— *Ты научила меня наклону!*.. Как же вы не знаете?!

— Темный человек — не знаю. А что это?

— Как что? Это о Магдалине.

— У Пастернака две «Магдалины». Ни в одной из известных мне этого нет. Или найдены какие-то неопубликованные варианты? Наверно, у Андрея есть последнее издание...

Дискуссия начала привлекать внимание застольцев. Почувствовав себя в свете юпитеров, Ронен, не оборачиваясь к книжным полкам, величественно протянул руку назад, и в ней немедленно оказался новейший зеленый том Пастернака, который он стал быстро листать в предвкушении очевидного торжества. Сидевший рядом со мной Тименчик посоветовал мне держаться осторожнее. Куда еще осторожнее, сказал я, я же говорю, что, может, нашли что-то новое... Все с нетерпением смотрели на

Ронена, который наконец объявил, что это не Пастернак, а, конечно, Цветаева. Повторив свой наполеоновский жест, он углубился в столь же магически обретенный зеленый том Цветаевой и вскоре победительно провозгласил:

— Вот! Вот! Конечно! *Наготу твою перстами трону Тише вод и ниже трав... Я был прям, а ты меня наклона Нежности наставила, припав.* «Магдалина», 1923 год. Извините, я забыл. Это не Пастернак ваш, а Цветаева. К тому же явный подтекст к его «Магдалине».

Я задумался о неожиданной находке, а разговор за столом перешел на другие темы. Спohватившись, что надо действовать, я шепнул Тименчику, чтобы он не отвлекался, — сейчас будет *«И там два раза повернуть...»*

— Омри, действительно похоже. И влияние вероятно. И вы имели полное право спутать, хотя процитировали, кстати, неправильно...

— Я же извинился!..

— Вы извинились, но вас еще не извинили. И не во мне одном дело. Извиняться надо перед Коржавиным, Цветаевой, Пастернаком, Толстым, Пушкиным, а главное, Нагибиным. Если даже вы — вы! — путаете Цветаеву с Пастернаком, то беллетристу Нагибину уж как-нибудь простительно спутать Альпухару с Гвадалквивиром.

Нагибина я оставил на закуску, — ведь, по моим вычислениям, Ронена тайно подогревало наше соперничество именно в области belles lettres. А карта ложилась так, что беллетризовать эту быль предстояло не ему, а мне. В том плане, что все жалуется на память, никто не жалуется на ум.

Нет, я не Пушкин, я — другой

С Сашей Чудаковым я был знаком целых полвека, с первого курса филфака МГУ. Наши личные и профессиональные отношения — долгая история, есть что вспомнить, но здесь я коснусь только его дневников 2005 года, опубликованных после его трагической смерти его вдовой (с которой меня связывают

столь же длительные, но еще более сложные отношения) и дочерью¹.

Несмотря на многочисленные купюры (как сообщают публикаторы, в основном дипломатического свойства), текст это очень длинный и (не исключено, что отчасти вследствие купюр) скучноватый, а так как дневник велся Чудаковым «всю жизнь» (там же), в недалеком будущем можно ожидать выхода в пятьдесят раз более объемистого тома — в несколько тысяч страниц². Такую плодovitость естественно списать на графоманство (подстерегающее всякого, кто берется за перо), но графоманство графоманству рознь. В данном случае его мотивировкой является неоднократно, в печати и устно, высказывавшаяся обоими супругами мысль о необходимости ведения и сохранения дневников — с целью возможно полной документации эпохи. Такой ракурс — равнение на историю — явственно чувствуется как в авторском выборе записываемых сюжетов³, так и в публикаторском принципе их отбора для печати (в частности, в изъятии всего семейного и личного, кроме взаимных похвал). В сочетании с неутомимой регистрацией происходящего — опять-таки ради грядущих историков — и с программным у Чудакова протоколированием всех производимых им поделок и починок по хозяйству, это определяет размер и стиль, а главное, жанр его сочинения, документального неизбежно лишь по форме.

Но постараюсь судить не выше сапога — только на известном мне личном материале.

1 Чудаков А. Дневник последнего года (1 января — 31 августа 2005 г.). Из «Дневника дачной жизни» 2005 года // Тыняновский сборник. Вып. 12: Десятые — Одиннадцатые — Двенадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы / Ред. Е. А. Тоддес. М.: Водолей Publishers, 2006. С. 507–568.

2 Методика порождения подобного текста видна из первого же примечания М. О. Чудаковой: «22 сентября 2005 года на презентации книги В. Аксенова „Зеница ока“ в ресторане „Петрович“, когда я, выступив, вернулась к нашему столику, он заносил в тетрадь только что мною сказанное, сделал, как обычно, комплимент по поводу моего выступления (с В. Аксеновым мы в свое время познакомились...)» и т. д. (с. 507).

3 В какой-то мере эта культурно-историческая самопрезентация может объясняться наивным следованием литературной теории и практике Лидии Гинзбург.

Мое имя появляется в тексте трижды и все три раза (с одной разве что оговоркой) в доброжелательном свете — невзирая на вышеупомянутые сложности в наших взаимоотношениях. Кого за это благодарить — автора или публикаторов, не знаю (их можно рассматривать как единую авторскую инстанцию), но в любом случае моя реакция не может диктоваться обидой. Объективности это, конечно, не гарантирует, но к сведению может быть принято. Итак:

Казус I. «[Татьяна Толстая р]ассказала, как Алик Жолковский, ухаживая за Ольгой Матич, был вызван ее тогдашним любовником-негром на мордобой. В волненьи [так в тексте. — А. Ж.], негр сказал что-то на сомали. Автор книги „Синтаксис сомали“ на этом же языке ему ответил. Пораженный негр вместо драки кинулся обниматься» (с. 511).

Эпизод, что и говорить, аппетитный (а для меня лестный, так что опровергать и деконструировать будет жалко). Ну, во-первых, отменный name dropping — сразу трое худо-бедно известных персонажей; во-вторых, экзотический, немного аксеновский, антураж — легко угадывающаяся Америка плюс африканские страсти; в-третьих, любовный треугольник с ожидаемым мордобоем; в-четвертых, научно-филологический план — владение языками, составление грамматик, знакомство с литературой; и, last but not least, в-пятых, драматическая развязка с эффектным хеппи-эндом. И притом чистейшая правда, со ссылкой на источники (см. «во-первых»).

Вроде бы по частям все так. Сомали я изучал, книгу о нем написал, за Ольгой ухаживал, негр был, конфликт без драки имел место, и обо всем этом мы с Ольгой могли рассказать Татьяне. Но в целом — откровенный лубок, да еще с густым романтическим налетом: «В волненьи... Пораженный... кинулся обниматься» — этакий «Выстрел» (Пушкин здесь поминается не всуе: на мысль о нем наводит и бескровная дуэль, и африканский колорит¹, и самый прием нанизывания на мифогенную фигуру — мою! — невероятных анекдотов).

¹ Как говорил мне один настоящий носитель сомали, диктор Московского радио Мохаммед Хаджи Осман Джир: «Ты ведь знаешь, что Пушкин был сомалиец?»

Ну да, конечно, мне виднее — я-то точно знаю, что никаких объятий, а тем более речей на сомали не было. А ему откуда знать? Ему рассказывают, он записывает. Можно, конечно, переспросить — Татьяну, меня, наконец, Ольгу. Но для этого в сознание должны закрасться какие-то сомнения относительно головокругительного сюжета, предполагающего, что первый попавшийся американский негр, пусть даже любовник несравненной Ольги Матич, почему-то оказывается носителем редкого африканского языка, как раз известного его сопернику. Сомнения, которых естественно ожидать от специалиста по Чехову при столкновении с изделием типа «Мороз крепчал»¹. Особенно если оно слетает с уст такой мастерицы сюжетного коллажа, как Татьяна Толстая (вспомним ее рассказ о Пушкине, недоубитом на дуэли и в дальнейшем палкой вразумляющем юного Володю Ульянова). Но Чудаков настолько поглощен звездностью исторического момента, что думать некогда — надо, не расплескав, донести его до дневника.

Казус II. «Стал записывать свои остроты, как Алик Жолковский. Впрочем, он их не записывает, а помнит до единой и через 40 лет воспроизводит в своих „Виньетках“» (с. 518).

Перед этим Чудаков приводит собственную остроту (неплохую), а меня, нарцисса грешного, привлекает для самооправдания. Но и тут быстро обнаруживается неувязка: он-то свою остроту записывает, а я, как приходится признать, — нет. При этом мое вымышленное записывание призвано извинить его, а мое реальное запоминание и опубликование — походя слегка заклеить меня.

На самом же деле стыдиться, тем более в личном дневнике, записи своих острот очень странно, особенно на фоне регулярного занесения в него похвал от окружающих и собственной жены. Но в том-то и дело, что по сути это не личный, интимный, сокровенный дневник частного лица, а общественный документ, свидетельство очевидца, образ современника исторической эпохи, и образ этот подлежит тщательному ретушированию

¹ Напоминаю: «...о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника (...) о том, чего никогда не бывает в жизни» («Ионыч»).

(«Да, записываю остроту, но это дьявол попутал, плохой мальчик подучил»). Вот этого можно бы и постыдиться. А главное — множества собственных не-острот, составляющих основную массу текста. Но их-то, если не записать, не упомянешь¹.

Казус III. «В черновиках [Чехова] *усиление* (термин Жолковского) дается при помощи каламбура, в окончательных вариантах он исчезает, каламбур превращается в намек на каламбур» (с. 519).

Наблюдение вроде правильное, ссылка на меня — образец корректности, тем более что статья «Об усилении» очень старая (1962), моя первая по поэтике, незрелая. Тем не менее *усиление* там не просто термин, а понятие, которое к приему, рассматриваемому Чудаковым, отношения не имеет.

И это опять не обида (ах, дескать, как он смеет неправильно применять мои идеи?!), а констатация на хорошо знакомом материале неосновательности предлагаемых нам à la Левий Матвей свидетельств о времени и о себе. Невольно возникает недоверие даже по поводу бесконечных донесений о починке шланга, ошкурировании стен и засыпании болота на дачном участке — кто знает, может, за лепкой своего самообраза в спецовке мастерового он и приписал себе несколько лишних забитых гвоздей?² Как проверишь? А веры на слово уже нет.

¹ Остроты — свои и чужие — запоминаются лучше, но тоже не всегда. Недавно, наткнувшись в Интернете на фразу: «За то, что вы читали всего Золя, можно простить вам, что вы написали всего Быкова», приводимую самим Дмитрием Быковым, я пришел в восторг от ее меткости (и его щедрости), а открыв текст, увидел, что автор — я, и тогда только припомнил, где и когда я это изрек. У меня есть и другие примеры забывания и даже свидетели.

² В первые постперестроечные годы, когда мы много виделись (и в Лос-Анджелесе, и в Москве), Саша, приобретший электронные наручные часы, иногда просил меня помочь в их настройке на нужный режим. Методом пыра и тыка я кое-как справлялся, и эта моя роль при нем стала у нас дежурной шуткой. Тогда я еще не знал, что его новый конек — видеть себя властелином вещей и инструментов и описывать этот предметный мир как в литературоведческих исследованиях, так и в собственной прозе. Теперь я это знаю и тем яснее вижу, что речь шла о мире, так сказать, низких технологий, заданных поэтикой Толстого, Глеба Успенского и Солженицына, на которую ориентирован его самообраз.

От сведущих людей я слышал, что в филологических кругах паника — боятся разоблачений, пока что купированных. Помоему, напрасно. Учитывая качество текста, это будут, в крайнем случае, не разоблачительные факты, а мнения, и не очень пронизательные, то есть нестрашные.

Как это делалось в Лас-Вегасе

История забавная, как ни посмотри, и ее давно пора записать.

Начать надо бы издалека, но нескончаемый сериал моих эдиповских тяжб с обожаемым — подрываемым — прощаемым — высмеиваемым — снова реабилитируемым — и снова деконструируемым — учителем Вячеславом Всеволодовичем Ивановым (для близких, а одно время и для меня, Комой) — диссидентом, депутатом, американским профессором, российским академиком и прочая, и прочая — отрывочно, но достаточно подробно пересказан мной в других местах. Скажу только, что свой отъезд в эмиграцию я воспринимал как разрыв не только с советским истеблишментом, но и с семиотическим антиистеблишментом — уезжал как бы от Брежнева и Иванова сразу. Тем поразительнее ирония и суворовский глазомер судьбы, настигшей меня в одиннадцати часовых поясах от Москвы, забросив с постгорбачевской волной на обжитый мной тихоокеанский берег, в самый что ни на есть Лос-Анджелес, не кого иного, как В. В., с которым я, наверное, все еще на «ты», но едва ли на *speaking terms*¹.

С началом перестройки я сделал шаг к примирению, он ответил взаимностью, и мы возобновили контакты, которые развивали во время моих поездок в Россию и его выездов на Запад. Я даже способствовал приглашению его на Международную конференцию по Мандельштаму в Бари (1988) — как если бы В. В. нуждался в моих рекомендациях! — и мы потом со смехом вспоминали об этом. Вдохновляясь выборочными позитивными воспоминаниями и новообретенным духом компромисса, я ста-

¹ *Букв.:* в разговорных, — так сказать, дипломатических — отношениях (*англ.*).

рался восстановить добрые отношения, и это вроде бы получалось; помню, например, как мы с Ольгой весело катали его на машине по Апулии. Но кое-что настораживало.

Однажды в холле гостиницы, в которой остановились участники конференции, я стал свидетелем публичного разноса, устроенного им Григорию Фрейдину, эмигранту и молодому тогда профессору Стэнфордского университета, за развитую им в только что вышедшей монографии нестандартную трактовку литературной позиции Мандельштама (для чего он ввел новое тогда в славистике понятие самопрезентации поэта), чуждую В. В. как носителю правоверно-диссидентской точки зрения. Не подозревая, что в дальнейшем подобным наездам предстоит подвергнуться и мне, я оторопело наблюдал за этой сценой, отдававшей недоброй памяти проработками в партбюро.

Постепенно обосновавшись на Западе, сначала, временно, в Стэнфорде (усилиями того же Фрейдина!), а затем, перманентно, в UCLA, В. В. стал утверждать свой авторитарный стиль. Я уже вспоминал, как он наорал на меня в Оксфорде, на юбилейной конференции по Пастернаку (1990), за мои вольные соображения о «Воробьевых горах». Были и другие подобные эпизоды, в официальной и частной обстановке. Все это накапливалось и грозило переполнить чашу моей неофитской терпимости.

Обостряло ситуацию присутствие его жены, Светланы, с замашками генеральши, рассматривающей всех «своих» как покорную челядь, обязанную оказывать мелкие услуги, возить В. В. на машине, обеспечивать массовку на его выступлениях и вообще всячески смотреть ему в рот. Ему и даже ей — ее вызывающе дилетантский доклад были принуждены вежливо прослушать его коллеги по кафедре и специально созванные гости (*И я там был...*). Вопреки заветным американским ценностям, небольшая русская колония вокруг В. В. превращалась в вотчину капризного вельможи.

Сам он, особенно на университетской публике, действовал, разумеется, тоньше, дипломатичнее. Но суть оставалась той же. Иногда дело касалось непосредственно меня, иногда других, но мириться с этим становилось все труднее. Как говорится, не для того мы родину продавали.

На одном из межуниверситетских семинаров доклад делала его младшая коллега, что-то о соцреализме. В прениях встает В. В. и своим обезоруживающе деликатным контратенором выводит:

— Мне, м-м, по семейным, м-м, обстоятельствам, довелось быть близко знакомым со многими писателями того времени, м-м, друзьями моего отца. И должен сказать, м-м, что все знали, что никакого соцреализма, м-м, не было...

Бедная докладчица теряется, отделяется какой-то полуизвиняющейся фразой и садится совершенно раздавленная. Я слушаю это в состоянии еле сдерживаемого бешенства. Меня подмывает встать и спросить, как же не было, как же не было, когда дача в Переделкине была, и машина тоже была, — не благодаря ли «Бронепоезду 14-69» и «Пархоменко», достойным образцам, вот именно, соцреализма?! Но я говорю себе, что надо держаться прилично, что глупо в энный раз ссориться с учителем, наконец, что это их кафедральные дела и меня они не касаются...

Потом я прихожу домой и рассказываю это Кате (знавшей Светлану еще по Москве, а во время первого визита В. В. в Санта-Монику мобилизованной им на закупку обуви для оставшейся в Москве супруги, — дело житейское и даже отчасти рыцарственное, но, что ни говори, удручающе совковое). И никак не могу объяснить ни ей, ни себе самому, *quousque tandem?* Ну, погоди, думаю, в следующий раз не смолчу...

Но наступает следующий раз, и на том же семинаре я делаю доклад о Зощенко, в котором касаюсь его темы «страха», а потом встает Кома, чтобы сообщить, что он, м-м, был хорошо знаком с Зощенко и должен, м-м, сказать, что тот был, м-м, очень храбрым человеком... Мне есть что возразить, например, что храбрость предполагает преодоление и, значит, наличие страха и что ссылка на знакомство, свойство, родство, вдовство и вообще личные связи — не научный аргумент, а попытка протолкнуть свои идеи, так сказать, по блату. Но я не нахожу в себе моральных сил парламентарно это озвучить, благодарю В. В. за ценное свидетельство, дома же опять раздражаюсь филиппиками по его и собственному адресу.

В другой раз (не помню, раньше или позже истории с Зощенко) он, подвыпив, орет на меня в более узкой компании по по-

воду статьи о Пастернаке, написанной для его англоязычного журнала «Elementa» (недолговечного по причине все того же стиля в обращении с авторами). Я слабо возражаю, статью забираю, внутренне киплю, но опять приговариваю себя к терпению. Отношения становятся еще более прохладными, однако до разрыва дело пока не доходит.

Почему он ведет себя так — теряюсь в догадках. Иногда мне кажется, что, помимо привычного совкового монологизма и патерналистского контроля над устраивающим его научным статусом-кво, им движет сильнейший психологический мотив — глубокое убеждение, что он, и только он как бы изнутри знает все о Пастернаке, Зощенко, Ахматовой, Эйзенштейне и, значит, одному ему дано говорить о них что-то дельное.

...Так или иначе, со мной он в какой-то момент перебрал — зарывался, зарывался и зарвался. Это общая беда властолюбцев. Казалось бы, в качестве специалистов по власти они должны хорошо понимать, как она работает — где кончается Бенья и где начинается полиция. Некоторые, лучшие, понимают.

Вспоминается продавщица в винном магазине на Остоженке, не желавшая, как все они, в обмен на товар принимать пустые бутылки.

— И не надейтесь, — говорит она мне, — вон у меня тары до потолка.

— Но вы обязаны принять.

— Я сказала: нет! Вы только всех задерживаете, — апеллирует она к народу.

Очередь действительно волнуется, напирает.

— Да нет, — говорю, — вы не понимаете. Вы посмотрите на меня внимательно. У меня вы примете.

И она принимает. Но такое политическое чутье дано не всем, вспомним хотя бы Нерона. Власть развращает...

Итак, В. В. опять мне нахамил, и в ходе очередного домашнего анализа, с мысленным заламыванием рук и самобичеванием по поводу собственного малодушия, я дал себе — при Кате — слово, что уж в следующий-то раз я ему не спущу, мало не покажется.

Жизнь, как известно, полна сюрпризов. Очередной вызов по этой линии она бросила мне в несколько неожиданной форме,

оставлявшей простор для колебаний. Но на то ведь и честное пионерское, чтобы начисто исключить всякий гамлетизм: взялся — ходи.

Произошло же вот что.

В 1997 году я получил приглашение на конференцию по посткоммунизму в Лас-Вегасе, штат Невада, от Дмитрия Шалина, редкостной в этом гнезде международного разврата птицы — русского эмигранта, профессора социологии, женатого на американке, безусловно владеющего устным и письменным английским. Пятью годами ранее он уже провел первую такую конференцию, выпустил по ней сборник докладов и теперь готовил вторую. Я не был уверен, моя ли это чашка чаю, долго раздумывал, несколько раз поговорил с Шалиным по телефону, сообразил, о чем мог бы сделать доклад, и согласился.

Время близится к конференции, как вдруг я получаю имейл от Шалина, что поступило предложение пригласить Бориса Гаспарова и Вячеслава Иванова; что я об этом думаю и нет ли у меня их координат? Ответить про Гаспарова не проблема: идея позвать его — прекрасная, адрес его — пожалуйста, но вряд ли он согласится on such a short notice¹. Что же касается Иванова... Я немедленно представляю себе, как они со Светланой приезжают в Лас-Вегас и начинают командовать. Конечно, у меня будет случай дать ему долгожданный отпор, но тащиться ради этого туда, куда я и так не рвусь?!

Впрочем, зачем же тащиться? *Nic Rhodos, hic salta* — выполнять клятву нужно здесь и сейчас. Права накладывать вето на чье-либо участие в конференции у меня нет (да и плюрализм не позволяет), но почему бы не заявить протест? Напишу, что, когда меня приглашали, Иванова в списках не было, а если бы он был, я бы сразу же отказался. Так что примите мой отказ. *Ohne uns!*² Но, как говорится в грузинском анекдоте, чѐм ма-атывы-ровал? Почему я не могу участвовать в одной конференции с Ивановым? Личная неприязнь? Несолидно. Старые счеты? Мелко. Вообще, политически некорректно.

¹ (Позванный) столь незадолго (*англ.*).

² Без нас! (*нем.*)

Формулировку подсказывает Катя. Напиши, говорит, что участие Иванова придало бы конференции доперестроечный характер. Скромно и просто, как сказал бы тот же Зоценко.

Я пишу и начинаю нервно ждать ответа. Он приходит в тот же вечер. No problem, пишет Шалин, забудем об Иванове, спасибо за адрес Гаспарова, ждем вас с вашим докладом. Я отвечаю: спасибо, простите за беспокойство — и забываю оговорить подразумеваемую, как мне кажется, конфиденциальность нашей переписки.

Эта оплошность оказывается роковой: В. В. вскоре узнает о моем демарше и нашим отношениям приходит конец. Я догадываюсь, кто из общих — с ним и с Шалиным — знакомых об этом постарался, но обижаться у меня нет оснований, скорее, надо быть благодарным. В сущности, он помог мне сдержатъ слово полностью: ведь не так важно то, что я не допустил В. В. на конференцию, как то, что до него был доведен — вынесенный мной и утвержденный соответствующей инстанцией — приговор ему как, выражаясь высокопарно, чиновнику, подлежащему люстрации. Я было проделал это закулисным образом, но тайное стало явным, мое забрало оказалось поднятым — и слава богу.

Конференция прошла оживленно. Посткоммунизм вошел в моду и вскоре стал темой еще одной конференции — на этот раз в Иерусалиме, под эгидой Димы Сегала, моего давнего знакомого и бывшего подчиненного В. В. по Институту славяноведения. Это была вполне филологическая тусовка, так что сомнений, ехать ли, у меня не возникало — если не считать тревоги по поводу вероятного столкновения с В. В. Под конференцию Сегал получил солидный грант и часто звонил из Иерусалима, уточняя детали, что давало мне возможность наводить осторожные справки насчет участия Иванова. Оно ожидалось.

Готовясь к неизбежному конфликту, я по старой диссидентской привычке мысленно репетировал ответную речь. Суть ее сводилась к тому, что все мы, конечно, ценим мнение уважаемого Вячеслава Всеволодовича, лично знавшего Пастернака, Зоценко и Ахматову (и, кажется, м-м, Мандельштама, Горького, м-м, Блока, Хлебникова и Гумилева?), но, откровенно говоря,

близость к рассматриваемым авторам не только не гарантирует его суждениям какой-то особой истинности, а, напротив, представляет собой чистый случай того, что в цивилизованном мире называется конфликтом интересов. Свою риторику я всячески оттачивал во время подготовки к конференции и полета Лос-Анджелес — Иерусалим, а будучи встречен в тель-авивском аэропорту одним из организаторов, тут же в машине завел разговор о составе участников и услышал, что Мариэтта Чудакова здесь, Игорь Смирнов здесь, Борис Успенский с женой здесь, Анатолий Найман прилетел, Галина Белая вот-вот прилетает, ждут Татьяну Толстую... А Иванов?.. — Нет, Иванова не будет.

Таким образом, поединок с драконом отодвигался в неопределенное будущее (и с тех пор так и не состоялся, хотя на некоторых мероприятиях мы потом встречались — холодно, но корректно), и можно было с легкой душой насладиться пребыванием в Земле обетованной.

Конференция (1998) совпала с 60-летним юбилеем ее организатора. Дими́на жена сказала, что его порадовал бы мой поздравительный тост, на заключительном банкете мы с Катей были посажены за самый почетный столик — с четой Сегалов и М. Л. Гаспаровым, и в нужный момент я произнес то, что от меня ожидалось. (На случай шестидесятилетий у меня есть дежурная история о жовиальном восьмидесятилетнем старичке, который все вздыхал, что не догадался сказать даме, что ему шестьдесят.)

Дима остался доволен, мы выпили, потом продолжили уже без тостов, разговор начал оживляться крупной солью светской злости, Дима спросил, что у меня там вышло с Комой, я рассказал (к явному, хотя и молчаливому, удовольствию Михаила Леоновича, любителя, как он выразился в другой раз, «подробностей») и потребовал, чтобы Дима, в свою очередь, рассказал, почему Кома не приехал на конференцию, и Дима поведал, как по ходу ее организации он однажды стал звонить мне в Лос-Анджелес, набрал номер, услышал в трубке мужской голос, сказал: «Алик?», в ответ получил возмущенное: «Какой Алик?!», узнал Светлану, быстро переориентировался, сказал: «А, Светлана, это Дима, можно Кому? Я насчет конференции...» — «Ах, это вы, Дима?!

Сейчас узнаю». Она ушла, долго не возвращалась, наконец взяла трубку и сказала: «Так вот, ДИМА. Кома БОЛЕН И БУДЕТ БОЛЕН».

На этом их разговор закончился, и я второй раз послужил причиной недопущения Иванова на конференцию по посткоммунизму. Болезнь его была, надо понимать, дипломатической, но, боюсь, не исключен и более серьезный диагноз. (Сам я от обследования тоже не отказываюсь.)

На Монмартре

В кулуарах престижного научного сборища в Москве, естественно уже на фуршетке, я перекинулся парой слов с одной коллегой. Мы пикируемся, ссоримся и миримся уже полвека. Я диссидент-эмигрант, она конформистка-патриотка, но меня занимают не столько ее убеждения, сколько то, как они сочетаются с ее профессиональными занятиями, чем дальше, тем более гуманитарными и, значит, предполагающими известную дозу авторефлексии.

Патриотизм патриотизмом, но какой же русский не любит заграничной езды? Ее приглашают на конференции (иногда она сама себя приглашает), билеты оплачивает та или иная сторона, а вместо дорогого отеля гостей часто расселяют по хозяевам. Дело обычное, особенно в случае российских ученых, финансовое положение которых мало изменилось с советских времен.

Положение не изменилось, но валить все на советскую власть больше нельзя. Теперь каждый отвечает за себя, идея, что бедность не порок, потеряла свое обаяние, и приходится позиционировать себя как-то по-новому.

Впрочем, в ее идеологической платформе все предсказуемо. Патриотизм-конформизм оформлен как превосходство: духовное — над остальным человечеством, расовое — над третьим миром, культурно-политическое, в союзе с Европой, — над вульгарной и агрессивной Америкой, личное научное — над большинством коллег, в том числе европейских, и особое моральное — надо мной, бездушно осмеивающим все хорошее. В наших спаррингах я, конечно, выигрываю по очкам, поскольку

она тягается со мной, так сказать, на равных кухонных правах, а я трактую ее как автор — персонажа, позиция, что бы там ни говорил Бахтин, выгодная. Нокаут, однако, невозможен ввиду заведомой цельности персонажа.

На фуршетке она уже сказала мне несколько гадостей (мои доклады все хуже и хуже, на эту конференцию меня вообще не взяли), я терпеливо отвечаю, что это не так, а сам удивляюсь ее тактической беспечности, полностью развязывающей мне руки. Но она полагает свою победу окончательной и переходит к закреплению нового статус-кво, меняя тему разговора на приемлемую для обоих — утверждающую ее превосходство, но позволяющую и мне погреться в его лучах.

Она рассказывает, что недавно ездила на конференцию в Париж, а остановилась у местной коллеги в прекрасной квартирке на Монмартре с видом на весь город, в прелестном квартале с уютными кафе и т. д. Коллега звезд с лингвистического неба не хватает, но очень симпатичная, гостеприимная, только странная, помешана на помощи неграм, больным СПИДом, фотографиями которых увешаны все стены. Она привозит их к себе из Африки, собирает для них деньги, лечит, в общем, типичная левачка с заскоками насчет помощи угнетенным. Но в остальном нормальная, симпатичная, к счастью, во время конференции квартирка была свободна, и пожить у нее было одно удовольствие.

— Все понятно, — говорю я, — только почему «но»? Никакого «но», ты для нее была еще одним угнетенным, нуждающимся в помощи, в сущности, божом, выражаясь по-французски — клошаром.

Ее ответа не помню, но, конечно, следует очередная ссора, не очень, впрочем, продолжительная, обнаруживаются общие дела и интересы, жизнь продолжается.

Звезды и немного нервно

Я сам люблю блеснуть, и мне льстит знакомство с блестящими современниками. Корнями этот сорт тщеславия уходит в романтический культ гения, хотя давно уже осознано, что самое

интересное в выдающемся человеке — это его профессиональные достижения, а не малодушно погруженное в заботы суетного света человеческое «я». Часто слишком человеческое. Как говорила мне одна приятельница, которая, будучи женой известного художника, непрерывно общалась со знаменитостями, их лучше читать и видеть на сцене, чем принимать у себя дома.

Мое тщеславие носит строго гамбургский характер. Надо, чтобы знаменитость меня действительно восхищала; автографы Евтушенко, Ильи Глазунова и Аллы Борисовны мне ни к чему. Как, впрочем, и автографы — уже в другом значении — Мандельштама, Пушкина или Моцарта, потому что речь не идет о безличном коллекционерстве. Волнует акт индивидуализированного внимания почитаемой знаменитости к тому факту, что вот живет в таком-то городе Бобчинский Петр Иванович...

Однажды на даче у знакомых, причастных к артистической среде и отчасти знаменитых, я оказался в обществе режиссера, спектакли которого мне нравились. Он держался любезно, но отстраненно. Разговор все же зашел о режиссуре, и я попытался произвести на него впечатление чем-то вычитанным у Эйзенштейна. Он реагировал вяло. Признавая свое поражение, я вспомнил рассказ Аверченко, в котором случайный попутчик пристает к писателю с расспросами о литературных знаменитостях, тот этим тяготится, а узнав, что собеседник — тяжелоатлет, переносит разговор на его территорию и начинает расспрашивать о подвигах Ивана Поддубного. Режиссер посмеялся, и к проблемам эстетики мы больше не возвращались.

Он вообще скорее скучал. Они с женой, артисткой его театра, ели где-то в стороне, за отдельным столиком, и с публикой контактировали мало. Я недоумевал, что же он тут делает, но потом застал его на веранде оживленно беседующим с одним из гостей, разговорчивым оригиналом-архитектором, местным сумасбродом. Вслушавшись в их разговор, я убедился, что формула Аверченко работает безотказно: обсуждались возможности теплоизоляции дачи, недавно приобретенной режиссером. Я подмигнул ему, он ответил понимающей улыбкой.

Вечер тянулся долго и закончился небольшим концертом силами собравшихся знаменитостей, гвоздем которого стало ис-

полнение, с участием режиссера, куплетов из его популярного спектакля. После этого гости стали разъезжаться, и я услышал, как, прощаясь у своей машины с хозяйкой, жена режиссера, честно промолчавшая все это время, сказала:

— Он с утра хотел спеть — и спел.

С тех пор я несколько раз встречал его в антрактах его спектаклей, а однажды — в студии у общего знакомого, радиожурналиста, когда он выходил из аппаратной, а я входил ему на смену. Я всегда почтительно с ним раскланиваюсь, он отвечает тем же, и опять остается эта проклятая неопределенность: знает ли он, что вот живет в таком-то городе Жолковский Александр Константинович?..

Крымская логоцентрическая

В Гурзуф мы попали заботами щедрого друга-литератора, предложившего свозить нас из Москвы на машине во все еще существующий Артек — по дружбе и в видах прочтения мной все еще съезжающим туда пионерам из ближнего зарубежья лекции о том, что такое стихи и как их понимать. Лекция, впрочем, не состоялась, но мы целую неделю провалялись на пустынном «пушкинском» пляже, наслаждаясь — при доброжелательном попустительстве милиции и вопреки отрезвляющему предупреждению Гераклита — купанием в волнах, некогда бегавших лечь к ее ногам¹.

В остальном Гурзуф скорее разочаровал своей разнообразной бедностью и нерасторопностью. Эра социализма там как бы уже закончилась, а эра капитализма еще не начиналась. В кафе и рес-

¹ Впрочем, где были эти волны (под Таганрогом, в Гурзуфе или под Одессой) и чьи это были ноги (Марии или Екатерины Раевской или Е. К. Воронцовой), так и не установлено. Странным образом в комментариях пушкиноведов не учитывается строка: *Я помню море пред грозюю*, позволяющая обратиться к метеорологическим данным о грозах в районе Таганрога 30 мая (ст. ст.) 1820 г. и в Гурзуфе в течение трех недель, начиная с 19 августа того же года, и в Одессе между осенью 1823 г. и июнем 1824-го (хотя зимние месяцы, наверное, стоит исключить?).

торанах официанты неизменно приносили заказанное в самом причудливом порядке, нашим жалобам непритворно удивлялись, ссылаясь на произвол поваров, чем напомнили мне российских редакторов, находящихся в полной зависимости от верстальщиков. Поэтому в спорах, кому должен принадлежать Крым — России или Украине, я склонялся к тому, чтобы вернуть его туркам, а в ответ на возражения спутников, в Турции, в отличие от меня, побывавших, угрожал вообще отдать его генуэзцам, а то и древним грекам или римлянам.

На один день мы небольшой компанией отправились в Коктебель, в осуществление моей давней мечты вторично войти и в эту реку времен. В течение двух десятков лет я бывал в Коктебеле чуть не каждый год, полюбил его выжженный серо-сизый пейзаж, дикие пляжи, труднодоступные бухты и горные перевалы, перезнакомился со всей наезжавшей туда литературной богемой, научился разбираться в камешках (чтобы мало-мальски понимать соответствующие стихи Мандельштама, уже — и еще — ходившие в списках) и даже мазаться килом и вот теперь, после тридцатилетнего перерыва, решил полюбопытствовать — съездить.

Водитель-экскурсовод, владелец комфортабельного микроавтобуса, который подрядился повезти нас за 200 баксов, оказался бывшим работником гурзуфской милиции, симпатичным грамотным дядькой, угощавшим нас вкуснейшими блинами с черникой, наготовленными его женой. Не догадываясь, что его слушатели сплошь филологи и литераторы, он с первой же минуты стал разворачивать перед нами парчовый узор своего краеведческого нарратива. Коллективных экскурсий я не люблю с детства, так что эта стилистика была для меня внове и поразила своей беззастенчивой литературностью, достойной внимания ОПОЯЗа и Риффатерра.

Начал он с деконструкции банального представления, будто жемчужиной Крыма является Ялта, а не, подразумевалось, его родной Гурзуф. Он предложил нам вникнуть в глубинный смысл образа жемчужины, и рассуждениями о том, что жемчужина по своей природе (как сказал бы Аристотель, *physai*) нахо-

дится внутри, то есть в сердцевине, то есть в середине содержащей ее раковины, шаг за шагом подвел нас к идее, что жемчужиной может считаться только то, что находится на равном расстоянии от периметра целого. Далее решение приоритетного спора, типа вопроса о родине Гомера, не составляло проблемы: Ялта такому определению не соответствовала, а соответствовал Гурзуф, в доказательство чего приводились сведения о его отстоянии ровно на 106 километров от важнейших достопримечательностей Крыма (каких не помню, но в цифре уверен), что было просчитано водителем по карте, а затем проверено по спидометру.

Логическому анализу понятия жемчужины вторили сообщения, часто сомнительные, о греческих, латинских и тюркских этимологиях названий Гурзуфа, Ялты и других крымских топонимов, в частности горы Медведь, она же Аю-Даг, и о том, что таких медвежьих гор на южном берегу не одна, а три. В подтверждение этого последнего тезиса водитель останавливал машину в местах, откуда открывались соответствующие виды на береговую линию, а на подсознательном уровне в том же направлении работала фольклорная устойчивость образа именно трех медведей.

Коктебель поразил меня полной и окончательной победой коммерциализма. Идя вдоль набережной, я совершенно не узнавал ее. Не было видно ни моря с одной стороны, ни поселка — с другой. В несколько рядов все было заставлено и застроено палатками, лотками с мороженым, чайханами, ресторанами, торговыми павильонами, пунктами обмена валюты. Вид этот мало отличался от открывающегося при выходе из станции метро «Тимирязевская» на одноименный рынок.

В программу нашей поездки, естественно, входило посещение могилы Волошина и его дома-музея. Могилу мы разыскали с трудом — из десяти встречных только один юноша в очках и с рюкзаком за спиной понял, о чем речь, и показал, как к ней пробраться в обход преграждавших дорогу пансионатов и строительных контор. Осмотр дома-музея оказался самым безболезненным этапом всей поездки: экспозиция и экскурсия были превосходны и работал кондиционер.

Задумавшись на обратном пути о причинах, погубивших привольный Коктебель моей юности, я пришел к выводу, что их две: его разнесенная культурной элитой 1960-х годов и постепенно овладевшая массами литературная слава и свершившаяся наконец капиталистическая революция, о необходимости которой столько говорили советские диссиденты, в том числе я.

Подышит воздухом одним...

Как-то раз, вспоминая речи недавних гостей, Катя сказала: «У нас за столом такая глупость была не принята».

Прозвучало это не очень по-христиански — так, апостол Павел скорее хвалил коринфян за то, что они, *будучи сами неразумными, охотно терпят неразумных* (2 Кор. 11: 19), да и вообще прославлял *безумие во Христе* (1 Кор. 3: 18). Но от Кати христианства требовать не приходилось: она все больше склонялась к иудаизму, а за столом ее детства вообще собирались советские ядерщики — рационалисты и богохульники.

Соль остроты, конечно, не только в издевке над глупостью, но и в настоянии на какой-никакой интеллектуальной гигиене, чем-то вроде мытья рук перед едой. Кстати, в английской версии Второго послания к Коринфянам фигурируют не просто «неразумные», а откровенные «дураки», и терпят их там не «охотно», а прямо-таки «радостно» — ситуация совершенно идиотская. Может быть, поэтому расхожим оборотом в светской англоязычной культуре стало отрицательное обращение этой фразы апостола: *He did not suffer fools gladly* (букв. «Он(а) переносил дураков без удовольствия»), употребляемое преимущественно в некрологах сатириков и прочих злоязычных умников.

Так или иначе, среди ученой публики глупость вроде бы неуместна, но — встречается и, по тем или иным соображениям, терпится. По доброте душевной, потому, что на дураках воду возят, потому, что глупость предпочтительнее подлости, потому, что она не всегда различима на окружающем фоне... Бывают, конечно, разные случаи.

Вспоминается рассуждение русского персонажа хемингуэевского «Колокола»¹, поражающее главного героя романа, американца Роберта Джордана:

— Вы знаете, что дураки бывают двух типов?

— Вредные и безвредные?

— Нет. Я говорю о тех двух типах дураков, которые встречаются в России... Первый — это зимний дурак. Зимний дурак подходит к дверям вашего дома и громко стучится. Вы выходите на стук и видите его впервые в жизни. Зрелище он собой являет внушительное. Это огромный детина в высоких сапогах, меховой шубе и меховой шапке, и весь он засыпан снегом. Он сначала топает ногами, и снег валится с его сапог. Потом он снимает шубу и встряхивает ее, и с шубы тоже валится снег. Потом он снимает шапку и хлопает ею о косяк двери. И с шапки тоже валится снег. Потом он еще топает ногами и входит в комнату. Тут только вам удастся как следует разглядеть его, и вы видите, что он дурак. Это зимний дурак. А летний дурак ходит по улице, размахивает руками, вертит головой, и всякий за двести шагов сразу видит, что он дурак. Это летний дурак.

Дурак, о котором пойдет речь, был вполне безвредный и в основном летний. Некоторые зимние его элементы сводились к попыткам произвести впечатление спонсированием публикаций об облюбованном им поэте и коллекцией трубок, ручек и чернильных приборов покойного. Но при первом же знакомстве его глупость бросалась в глаза, и вставал вопрос о том, в каких количествах она переносима. Потому что глуп он был во всем, начиная с выражения лица и кончая фамилией.

Тем не менее, когда он преподнес мне сборник, в котором перепечатал мою статью о его кумире, сделав к ней всего одно дурацкое примечание, и пригласил нас с Ладой и нашим общим

¹ В «Колоколе» байку о двух типах дураков рассказывает Карков (Kharkov). Прототипом Каркова считается Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд; 1898–1938? 1940? 1942?), с которым Хемингуэй встречался в Испании. Его классификация дураков восходит то ли к Владимиру Жаботинскому, то ли к Соломону Михоэлсу, то ли к Шолом-Алейхему (<http://penguinny.livejournal.com/72795.html>). Евреи, евреи, кругом одни евреи!..

хорошим знакомым (а хорошие знакомые бывают и у дураков) в гости, мы, не желая показаться высокомерными, по-глупому согласились. И как дураки пошли.

Что там в точности произошло, толком не помню. Я, как всегда в подобных случаях, держался бодро, исходя из того, что это не первый такой случай и не последний, что ужинать все равно где-то надо, что еда вряд ли будет отравлена, что, возможно, я услышу о поэте что-нибудь забавное, наконец, что глупость глупостью, но, в общем-то, она не так страшна, как ее малюют, а глядишь, и поставит материал для будущей виньетки..

Тут-то она, виньетка, и подтвердилась. Сижу я себе, стараясь, согласно апостольскому завету, сносить посланное испытание по возможности радостно, как вдруг замечаю, что Лада нехорошо бледнеет, выползает из-за стола, ложится на кушетку и чуть ли не теряет сознание. Гостеприимные хозяева суетятся вокруг нее, предлагают воду, таблетки, холодные и горячие компрессы, но все бесполезно. Лада просится домой, ни я, ни хозяева возражать не в силах, и мы отбываем.

На улице ей сразу становится лучше. Я начинаю допытываться, что же случилось: духота? опьянение? отравление? внезапная простуда?

— Нет, — говорит, — просто невыносимая глупость, я больше не могла!

— Так ты притворилась?!

— Да нет, мне действительно стало плохо от всего этого!

— От чего?

— Я же говорю: от глупости!..

Вот это да! Удивительное рядом, магия среди нас. Настоящее колдовство или, если угодно, искусство, — когда слова, абстракции, ум, глупость материализуются у вас на глазах. Под звуки труб рушатся стены Иерихона. Мертвый, как ему велено, встает и идет. Из стихов о весне дует так, что можно схватить насморк. От взгляда ведьмы молоко скисает. От поэтической инвективы древнеирландский король покрывается язвами. Идеи, даже самые нелепые, овладев массами, становятся материальной силой.

И все-таки непонятно. Одно дело читать об этом, другое — наблюдать вживе. Главное, там — настоящая магия: боги, про-

роки, ведьмы, поэты, вожди. Тоже, конечно, не торжество разума, а сплошная харизма. И тем не менее. А тут — самая обычная глупость, и не какая-то фанатическая, демоническая, власть имущая, как в 66-м сонете, где *разум сносит глупости хулу*. Нет, обыкновенная глупость, — повторяю: безвредная, душевная, гостеприимная. Ну да, тупая донельзя — но и только. Разумно ли падать от нее в обморок? Или я чего-то недопонимаю? Лишен седьмого чувства? А люди с по-настоящему тонкой организацией в атмосфере идиотизма задыхаются самым буквальным образом?!

Бахтин, esq.

Печататься мне приходилось на самых разных условиях: за откровенную взятку, за официальную доплату (по гранту; за свой счет), безвозмездно, за смехотворно малую плату, за нормальный гонорар, а пару раз даже с оплатой по вполне приличной ставке; случалось и смиренно получать полный от ворот поворот. То есть знаменитую оппозицию «честь»/«слава» я испытал на своей авторской шкуре во всех ее изводах. Но история, которую я хочу рассказать, не подпадает ни под одну из этих категорий.

Как-то раз, лет десять назад, под конец лета, когда мы уже собирались из Москвы назад в Калифорнию, я неожиданно-негаданно получил по электронной почте приглашение написать эссе в свободной форме для русской версии журнала «Esquire». Письмо было от неизвестной редакторши, сообщавшей, что мне, наряду с рядом видных российских литераторов, предлагается принять участие в подборке на тему о сравнительных достоинствах жизни в России и за рубежом. Размер — четверть листа, срок — две недели, гонорар — \$500.

Это звучало очень лестно, тем более что возникло само собой, без каких-либо интриг с моей стороны. (Довольно быстро я вычислил, что неожиданным вниманием престижного органа был обязан, скорее всего, словечку, замолвленному Левой Рубинштейном; так и оказалось.) Рейтинг журнала, размеры эссе и гонорара, соседство с признанными авторами — все это меня устраивало. Проблема была только в краткости срока, которая накладыва-

валась на ненавистное чемоданное состояние перед полетом и неизбежный джетлаг после.

Я хотел отказаться, тем более что никаких идей, о чем писать, у меня не было, а тут еще этот цейтнот. Но Лада мгновенно придумала тему («Помнишь, сколько мы говорили о том, как по-разному обстоит дело с ездой на велосипеде здесь и там»). Тогда я решил позвонить редакторше, предложить тему и, если она ее утвердит, попросить о небольшой отсрочке. Тему она утвердила, отсрочку дала со скрипом («Ладно, не две недели, а три»), я в тот же вечер сел за компьютер и за несколько дней, еще до отлета, написал свою «Велодраму». В Санта-Монике я еще раз ее отделал, полюбовался изяществом формы и содержания и отослал редакторше, уложившись в общей сложности в неделю.

Последовала пауза, вызвавшая язвительные комментарии Лады по поводу моего наивного непонимания российских реалий. Потом — в ответ на мои тревожные запросы — сообщение, что другие авторы пока ничего не подали, не могу ли я подождать еще неделю? Потом еще неделю. Потом две. Потом опять пауза, и наконец, известие, что подборка как-то не вытанцовывается, судьба ее неопределенна, я, конечно, могу еще ждать, но, вообще говоря, наверное, мне лучше свое эссе забрать и располагать им по собственному усмотрению. Это было оскорбительно во всех отношениях, но главным образом, конечно, потому, что любовно выношенный мной текст, по-видимому, не произвел на сотрудников журнала никакого впечатления. Кроме того, каждый такт удручающей переписки сопровождался Ладиными насмешками, а заключительный пинок — торжествующей репликой: «Я же говорила!»

Этот перекрестный огонь привел меня в чувство, и я понял, что надо действовать. Правда, сначала я все-таки справился у Левой, не подведу ли я его под монастырь, если со всего борта вдарю по «Эсквайру», — и получил полный карт-бланш. Тогда я отписал редакторше, указал (отослав ее к своей давней статье «О редакторах») на нижнюю строку, занимаемую ею в трехуровневой иерархии редакторов: Младший — Средний — Главный, в силу чего она, естественно, не несет ответственности за действия журнала, а потому пусть лучше даст мне адрес и имя и фамилию Главного, и я буду разбираться непосредственно с ним.

Фамилия у Главного оказалась неслабая — Бахтин. Правда, не Михаил Михайлович, а Филипп, но все-таки. Вступить в диалог с, как ни крути, Бахтиным — дорогого стоит.

Особенно мудрить над письмом я не стал, а, наслаждаясь правом на безыскусную прямоту, изложил свои претензии. В том смысле, что мне обещали деньги и славу, срочно усадили за работу, я эти сжатые сроки выдержал, эссе написал, никаких литературных претензий ко мне, как я понимаю, нет, и, раз подборка не получается, я согласен ограничиться принятием извинений и получением гонорара. По старой американской привычке (несколько раз меня выручавшей) внизу письма я приписал, что его копия направляется, пока что просто для сведения (FYI — for your information), моему юристу, не помню, Вайнштейну, Перельштейну или Рубинштейну; юрист был вымышленный, а фамилии я в таких случаях, пограничных между фикшн и нон-фикшн, беру всегда настоящие (первые две были позаимствованы у моих лос-анджелесских знакомых, торговца картинами и врача, а третья, в порядке домашней семантики, у уже упоминавшегося Лёвы).

Письмо я показал Ладе и в ответ услышал предсказуемое: «Да-да, сейчас тебе пришлют деньги, прямо в долларах!.. Он вообще не ответит».

Но через пару дней пришел очередной имейл от Бахтина, писавшего, что редакция сожалеет, что подборка не сложилась, и что мне, как водится в таких случаях, будет выплачена половина обещанного гонорара, то есть 250 долларов США, для чего мне предлагается связаться с бухгалтером Еленой Имярек, ведающей этими вопросами, и дать ей свои банковские реквизиты. Ладины издевательские комментарии опускаю.

Я ответил, что требую выплаты 100% обещанной суммы, причем в кратчайшие сроки — еще до закрытия журнала, какое ему угрожает ввиду очевидной неэффективности менеджмента; письмо содержало координаты моего университетского банка и строку о копии адвокату. Лада продолжала ехидствовать, утверждая, что на этом переписка уж точно прекратится — и концы в воду.

Диалог, однако, продолжился. Мое литературное мастерство наконец продемонстрировало магическую власть над читателем.

В очередном послании Бахтин сообщал, что мне переводится полная сумма и, с некоторым, что ли, ответным риторическим шиком, передавал привет адвокату. Лада ограничилась кратким «Держи карман шире», я взял тайм-аут, и наступило затишье.

Через пару недель, зайдя по другому делу в банк, я заодно спросил, не поступало ли на мой счет какого-нибудь перевода, предположительно на сумму в \$500. Оказалось, поступало — от издательского концерна Randolph Hearst и именно на указанную сумму. Я попросил, и мне выдали ксерокопию документа, где имя пресловутого магната желтой прессы значилось на видном месте жирными готическими буквами. Я предъявил ксерокс Ладе, и он до сих пор хранится где-то в моих бумагах.

Так я единственный раз в жизни испытал редкую форму взаимодействия с издателем, когда автору платят, и неплохо, за то, чтобы его *не* печатать. Так сказать, платят за молчание.

Оскорбления по линии авторского самолюбия пятьсот баксов смыть, конечно, не могут, и мои моральные страдания продолжались. Отчасти они были смягчены тем, что, получив отступные (гонораром ведь эти деньги не назовешь), я тут же подал статью в «Московские новости», и она вскоре вышла, принеся мне скромный, но, бесспорно, гонорарный чек на \$135.

Следующий шаг к реабилитации моего авторского «я» был сделан, когда я случайно обнаружил, что из «Московских новостей» статью перепостили на международном веб-сайте «Велосклад», где она доступна русскоязычным веломанам всей планеты до сих пор; изменилось только название сайта: теперь это не «Велосклад», а типа «Веломир» (<http://subscribe.ru/archive/rest.travel.velomir1/200510/23141044.html>), с лозунгом: *Велосипедисты всех стран, соединяйтесь!*

Но какая-то горечь на дне этой бочки меда оставалась. Все-таки «Московские новости» и «Велосклад» — это не «Эсквайр». Окончательно рана затянулась, когда Леша Лосев, ныне покойный, а тогда на радость всем живой, написал мне, что «Эсквайр» заказал, а потом отверг его стихотворение длиной в 72 слова; тогда он переслал его в «Знамя», где его немедленно напечатали. Вот оно:

СВОИМИ СЛОВАМИ (ПЕРЕСКАЗ)

Ф. П., владелец вислых щечек, поставил сына, блин, на счетчик! Вся эта хрень произошла там из-за бабы, не бабла. А С. был полный отморозок, немало ругани и розог он сызмалетства получил. Сработал план дегенерата: он разом и подставил брата, и бату на фиг замочил. Всё, повторяю, из-за суки. Тут у другого брата глюки пошли, а младший брат штаны махнул на хиповый подрясник и в монастырь ушел под праздник. Ну вы даёте, братаны! (Знамя. 2008. № 10; <http://magazines.russ.ru/znamia/2008/10/111.html>)

Ну, в такой компании кто бы отказался быть отвергнутым? И вообще, играем не из денег, а только б вечность проводить!

Задачи на память

У меня неплохая память на лица. Я, как правило, способен опознать актера, который в новом (или, наоборот, очень старом) фильме предстает неузнаваемым, — нащупав в памяти его другие, казалось бы, совершенно непохожие обличья. Такое опознание — занятие сугубо спортивное, призванное удовлетворить исследовательское самолюбие, а с недавних пор и вообще избыточное, поскольку все можно найти в Интернете. Но в жизни подобные задачи нет-нет и возникают, причем иногда решение требуется мгновенное, а заглянуть некуда, кроме собственной памяти.

Вспоминаются два случая: один и сам довольно давний, а уходящий и вовсе в глубокую даль, другой более свежий, но тоже на добротной ретроспективной подкладке.

Примерно четверть века назад, уже в перестроечные времена, на конференции в Москве я познакомился с одним видным русским французом, потомком эмигрантов и одно время французским культурным атташе в России. По его приглашению я вскоре побывал в гостях у него и его тогдашней жены в Бретани, на небольшом острове, который содержался в идеальной экологической чистоте: там был запрещен и действительно отсутствовал автомобильный транспорт.

Разговор о том о сем быстро перескочил на общих знакомых, и одной из них оказалась Ч., моя приблизительная сверстница и давнишняя, правда не очень близкая, приятельница — в качестве сначала, как и я, ребенка из музыкальных кругов, а затем моей коллеги по Институту иностранных языков. Наша бретонская хозяйка, подружившаяся с ней в Москве, стала рассказывать забавные истории из времен первого брака Ч., и я вдруг сообразил, что тоже знал ее первого мужа, то есть не то чтобы знал, но однажды видел — и остался, как говорится, под впечатлением.

Дело было еще тремя десятилетиями раньше, году в 1957-м. Папа взял меня в Дом творчества композиторов в Рузе, и однажды за завтраком по столовой вдруг пронесся слух, что здесь Ч., которая только что блестяще вышла замуж, ее красавец-муж тоже здесь, это замечательная пара и сейчас мы их увидим. Действительно, вскоре они вошли в столовую, и все стали любоваться на эту королевскую чету, подходить, знакомиться, поздравлять.

Ну, в Ч. мне особенно всматриваться не приходилось — ее экзотическая внешность была мне хорошо знакома, — зато на ее мужа я наглядеться не мог. Он был высок, кинематографически красив, с гладкой сверкающей кожей, в великолепном темном двубортном костюме явно заграничного производства. Он как бы явился из другого мира, и никаких мыслей о неуместности на завтраке в Рузе вечернего костюма мне и в голову прийти не могло. Что-то возбужденно говорилось о его полуиностранном происхождении, но что именно, я тогда не уловил и, соответственно, не знал и теперь.

Своим воспоминанием я радостно поделился с собеседницей и в ответ услышал:

— Так это же П.

Лицо и личность П. к тому времени были у всех на виду и на слуху по обе стороны океана, и передо мной встала задача примирения двух несовместимых образов. Кстати, не исключено, что я пересекался с П. в коридорах Московского радио — в годы своей работы на полставке в сомалийской редакции, а его — на гораздо более важных ролях в английской, — но никаких следов в моей памяти это не оставило.

До сих пор ясно помню тот немедленно запустившийся сеанс морфинга, который стал стремительно сводить перед моим мыс-

ленным взором вдохновенный юношеский лик загадочного двадцатитрехлетнего кинокрасавца — с проваренным в чистках, выдержанным в духе перестроечного и-нашим-и-вашим, немного подержанным, но телеканальски обаятельным, международным постером гласности и перестройки. Все магически наложилось, совпало один к одному, и я испытал настоящий визуальный катарсис от мгновенного схождения несходного. Хотя особой моей заслуги там не было — я не обошелся без подсказки, что речь идет о знаменитом П.

Ряд волшебных изменений милого лица, как писал поэт.

Другая история произошла много позже — так сказать, со сдвигом по фазе. Ее герой родился всего через год после моей первой встречи с П., а моя первая встреча с ним пришлось примерно на время бретонского морфинга. Но начну с нашей второй встречи и, соответственно, задачи на узнавание (каковую я на этот раз решил сам, без посторонней помощи).

Была середина 2000-х. Я шел по одному из запутанных коридоров института, где часто бываю в Москве, и вдруг увидел, что навстречу мне движется группа людей, в основном молодых, центром которой является чем-то знакомый мне человек — знакомый, но неузнаваемый, неузнаваемый, но вызывающий к ментальному отождествлению.

Задача подобной скоростной идентификации часто встает передо мной в Москве, когда после долгого отсутствия я вдруг сталкиваюсь со множеством шапочных знакомых, которых легко могу перепутать, что пару раз уже случалось, приводя к неизбежным обидам, ибо ничто нам так не дорого, как наша идентичность, хоть ее-то просьба не отнимать. Операцию по срочному опознанию личности внезапно представшего перед тобой человека можно сравнить с действиями контрразведчиков в романе В. Богомолова «В августе сорок четвертого», где военная обстановка диктует незамедлительность решений.

Пока я предавался этим мыслям, группа студентов, аспирантов и молодых преподавателей вместе с окруженным их почтительным вниманием руководителем, предположительно профессором, неуклонно приближалась ко мне, вернее, мы с ней неуклонно сближались, причем я двигался, по обыкновению, быстро, они же скорее медлили. Приглядевшись, я понял, что

медлительность группы задается из ее центра — крайне неторопливой, разболтанной, неуверенно пошатывающейся, какой-то старческой походкой профессора, если не академика, немного смахивавшего на китайского болванчика. Это давало мне не только определенный выигрыш во времени, но и некоторую, хотя бы самую общую, подсказку: моего знакомого незнакомца следовало искать среди когорты старших коллег, стоящих на пороге вечности, — сверстников Аверинцева, а то и Гаспарова или даже Гуревича. Чему соответствовало несомненное почтение, с которым роившиеся вокруг него адепты заглядывали ему в глаза и чуть ли не поддерживали его под руки.

Однако беглый перебор известных мне старейшин филологии результатов не давал, расстояние же между нами все сокращалось и наконец сократилось до той точки, где от меня ожидалось бы осмысленное приветствие. Наступал момент истины. Тем временем мы поравнялись, и вблизи он оказался не столь законченным богдыханом, каким его играла свита; в его лице я вдруг прозрел черты юного, очень юного коллеги, встреченного во время одного из моих первых приездов в перестроечную Москву, то есть полутора десятками лет ранее, в моем пятидесятилетнем с мелочью возрасте.

Году в 1989-м, по ходу открытия для себя новой России, я выступил с лекцией в одном очень передовом институте и был приятно удивлен высоким уровнем филологической подготовки слушателей. Особенно умные вопросы задавал некто К., который показался мне школьником, хотя ему, как потом выяснилось, в действительности было уже все тридцать. Я отметил его и потом с интересом следил за его головокружительной карьерой, попутно превратившей, как это бывает, брызжущего энергией человека, выглядевшего моложе своих лет, в преждевременно **посолидневшего и ученого старца**.

Все это я по-смершевски оперативно прокрутил в голове и, поравнявшись с окружавшим К. роем поклонников, непринужденно приветствовал его по имени.

P. S. У читателя может возникнуть вопрос, кто же персонажи этой виньетки. С одной стороны, к его услугам, как было отмечено, Интернет, а с другой — речь ведь, в сущности, не о них, а обо мне — о моей цепкой памяти и неусыпном внимании к людям.